

Роберт Вальзер

Миниатюры

Конторщик © Перевод С. Ефуни

СВОЕГО РОДА ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Месяц светит нам в окно,

И зрит меня, бедного конторщика.

Будучи явлением весьма распространенным, конторщик еще ни разу — по крайней мере по моим сведениям — не становился предметом письменного разбора. Возможно, он слишком зауряден, слишком невинен, недостаточно бледен и испорчен, не столь интересен, этот молодой человек с пером и счетами в руках, чтобы дать пищу господам поэтам. Впрочем, мне он ее дал. Я с удовольствием заглянул в его маленький, свеженький, незатоптанный мирок, открыв в нем уголки, где таинственной тенью скользит мягкий солнечный луч. Конечно, совершив сей прекрасный экскурс, я слишком мало увидел и, как это случается в поездках, промчался галопом по множеству прелестных местечек. Но пусть я описал немного из увиденного, пусть чтение этого немногого и не является обязательным, все же оно, по-моему, освежает и не слишком утомительно. Прости, читатель, если я говорю за тебя, но подобные предисловия являются прямо-таки страстью писателей-юмористов. Так почему я должен стать исключением? Прощай и прости меня.

КАРНАВАЛ

Конторщик — это человек лет восемнадцати — двадцати четырех. Существуют конторщики в возрасте, но их мы в расчет не принимаем. Конторщик аккуратен в одежде и в жизни. Неряхи не в счет. Кстати, последних совсем немного. Истинный конторщик, как правило, умом не блещет, и был бы плох, если б им блистал. Что до безобразий, то конторщик позволяет их себе ничтожно мало. Как правило, вулканическим темпераментом он не обладает, зато у него есть трудолюбие, такт, умение приспособливаться и масса других превосходнейших качеств, которые столь мизерный человек, как я, вовсе не смеет или почти не смеет упоминать. Конторщик может оказаться милейшим, и притом решительнейшим человеком. Знал я одного, отличившегося на пожаре при спасении людей. Конторщик может моментально превратиться в спасителя, а уж тем более в героя романа. Так почему же конторщик так редко попадает в герои новелл? Очевидно, это ошибка, в которую отечественную литературу следовало бы ткнуть носом. В политике и вообще во всех общественных делах конторщик как никто поднимает свой могучий тенор. Да-да, именно как никто. И вот что следует подчеркнуть особо: конторщики — натуры богатые, широкие, самобытные. Богатые во всех отношениях, широкие во многих, самобытные всюду, а заодно уж и прекрасные. Талант к сочинительству легко выводит конторщика в писатели. Я знаю двух, нет, трех

конторщиков, которые мечтали стать писателями, уже стали или скоро станут ими. Конторщик более склонен к любви, чем к пиву. Казните меня, если это не так! К любви у него особый талант, он искусник в разного рода галантностях. Случайно я слышал, как одна девушка сказала, лучше-де выйти замуж за кого угодно, только не за конторщика, ибо это значило бы плодить нищету. А я скажу вам: у этой девушки не только дурной вкус, но и жестокое сердце. Конторщик заслуживает всяческих похвал. Нет на свете существа наивней его! Разве конторщик посещает крамольные сходки? Разве встречаются конторщики разгильдяи и гордецы вроде художников, скупердяи вроде крестьян или как директора? Директор и конторщик — вот два антипода, два мира, далеких друг от друга, как земля и солнце. Нет, душа конторщика бела и чиста, как стоячий воротничок на его шее. А, кстати, кто хоть раз видел конторщика без тщательно отутюженного воротничка? Я хочу знать, кто!

МАСКАРАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Робок поэт, когда, презираемый светом, в своей одинокой мансарде забыл он принятые в обществе манеры, но еще больше робеет конторщик, когда он входит к начальнику, а у того гневная отповедь на языке, а на трясущихся губах белая пена. Разве он не воплощение кротости? Голубь и тот не отстаивал бы свою правоту смиренней и мягче него. Конторщик сто, нет, тысячу раз подумает, прежде чем сделать что-то, зато вынужденный решиться, он дрожит от жажды действий, и тогда горе врагу, даже если этот враг сам господин директор! Вообще же конторщик не испытывает недовольства своей судьбой. Он живет в свое удовольствие тихой, чернильной жизнью, не вмешиваясь ни в политику, ни в споры, ведет себя весьма умно, как и подобает человеку, смилившемуся со своей долей. Занимаясь делом монотонным и скучным, он нередко мнит себя, что называется, философом. В силу спокойной своей натуры, он обладает способностью как бы нанизывать всяческие мысли, фантазии и выдумки. С ловкостью необычайной он цепляет одну великую мысль за другие, и получается нечто вроде нескончаемого товарного состава. Впереди пар, сзади пар. Ну как тут не двинуться в путь? Оттого конторщик и может часами со знанием дела, с большим тактом и большой осторожностью рассуждать об искусстве, о литературе, театре и других не совсем простых материях. Делает он это обычно на службе, полагая, что вправе немного посвятить себя обществу. Но стоит только начальнику прибежать с криком и руганью, о чем, черт возьми, здесь спорят, как — кыш — интеллигентной, на много страниц беседы будто и не бывало, а конторщик тут как тут. Что верно, то верно: конторщик умеет отлично перевоплощаться. Умеет бунтовать и повиноваться, проклинать и умолять, извиваться ужом и упорствовать, лгать и говорить правду, льстить и хвастать. В душе его, равно как и в душах прочих людей, уместаются разнообразнейшие чувства. Он склонен к послушанию и упорству. Впрочем, тут он никак не виноват — не люблю я повторяться, однако нет на свете существа смиренней, уступчивей и справедливей его. А ведь как конторщик печется о собственном образовании! Научкам, всепоглощающим наукам, он посвящает целый отрезок своей жизни, и счел бы себя оскорбленным, если б усомнились, что в них он преуспевает не так, как в своем деле. Будучи мастером своего дела, он стесняется

обнаружить это. Прекрасное свойство, заходящее у него, однако, столь далеко, что он готов скорей прослыть дураком, нежели всезнайкой, а потому часто и без нужды получает нагоняи. Ну, да гордой душе все нипочем!

ПИР

Мир и поле деятельности конторщика — узкое, тесное, голое, убогое помещение. Инструмент, которым он творит и ваяет, — ручка, простой карандаш, красный карандаш, синий карандаш, линейка и разные таблицы, от подробного описания коих воздержимся. Перо настоящего конторщика, как правило, чрезвычайно острое, отточенное и страшное. Почерк обычно чистый, не без изящества, а иногда даже слишком изящный. Прежде чем начать писать, настоящий конторщик некоторое время медлит, как бы внутренне собираясь или прицеливаясь, подобно бывалому охотнику. Затем он нажимает на курок, и тут словно из райских кущ вылетают буквы, слова, фразы, и каждая фраза обычно обладает прелестной способностью выразить очень многое. По части переписки конторщик большой дока. На лету он изобретает конструкции, могущие повергнуть в изумление многих ученых мужей. Но где эти сладкозвучные сокровища подлинно народного словотворчества? Исчезли бесследно. Нескромным поэтам и ученым следовало бы поучиться у конторщиков. Ох, уж эти мне поэты! Тиснут пару строчек — и уже надеются прославиться и разбогатеть! Насколько благородней и возвышенней образ мыслей и поведение служащих; несмотря на свою очевидную бедность, те обладают богатством, которое по праву можно называть великим. Быть богатым — вовсе не значит казаться таковым в глазах легковесного света. А вот быть по-настоящему бедным — значит казаться богатым и скрывать все признаки голодной и злой бедности. Все это, очевидно, свидетельствует в пользу нашего героя, конторщика. Но разве он этого не заслуживает? Вне всякого сомнения, конторщик превосходный математик и эконом. Женщины, почему вы не ищите таких мужчин? Превосходный математик — обычно и превосходный человек. Конторщик доказывает это раз десять на дню. Жулики и прощелыги за всю свою жизнь не сумеют правильно сложить и двух цифр. Разгильдяю никогда не выучиться точному счету. Особенно это заметно по артистам, которых я всех до единого считаю разгильдяями. И если сравнить с конторщиком, то кто устоит против него? Конторщик обычно превосходно говорит на семи-восьми языках. По-испански он изъясняется как испанец, а по-немецки — как он сам. Но разве здесь уместны иронические замечания? Нет конторщику равных в записи доходов и расходов, собственных ощущений и наблюдений, мыслей и идей. Тут он порой доходит до смешного. Но в остальном любой благожелатель найдет в нем только прекрасное и достойное подражания. Мир, в котором обитает конторщик, тесен, инструмент мелковат, а труд его сильно теряет в сравнении с другими профессиями. Ну, скажите, разве это не горькая доля?

НОВЫЙ КОМПАНЬОН

Уважаемый читатель! Позволь представить тебе еще одного обитателя моего коммерческого зверинца. Это конторщик лет двадцати, из тех, что подают большие

надежды. Его усердие и рвение еще не испытало вероломства судьбы. Его старательность, проявляемая во всех полезных делах, расцвела пышным алым цветом. Что же до его истинно коммерческого образа мыслей, то яркость их не уступит даже тюльпану. Я вижу с ним ежедневно: утром, в обед и вечером, за ужином, и по его поведению за столом сужу о многом. Он ведет себя слишком безупречно. Временами в его поведении сладким желтым солнечным зайчиком могла бы промелькнуть некоторая невоспитанность, но это не приходит ему в голову. Может быть, он делает это нарочно, чтобы помешать мне писать свой портрет? Может, этот малый заметил, куда я клоню? Конторщики — народ ушлый! Ведь всякому ясно, что мне гораздо сложнее изобразить в нюансах его безупречное поведение, нежели представить его самого в неприглядном свете. Человеческие пороки и слабости дают писателю прекрасную возможность быстро выказать ум, а, значит, быстро прославиться и быстро сколотить состояние. Кажется, этот статист завидует моей карьере. Ну, погоди, молодец! С тобой мы справимся! Разумеется, правда от этого ничуть не пострадает. Правда и только правда была и есть главное. Наш персонаж мало ест, как и подобает всем умным людям, в беседе участвует весьма осторожно (еще один признак выдающегося ума!). Слова он не произносит, они как бы выскальзывают у него изо рта. Но разве он виноват в этом? Возможно, все дело в неправильном строении губ. Ест он деликатно, отлично владея ложкой, ножом и вилкой. Краснеет, когда при нем говорят сальности. Прекрасная привычка! Он никогда не выскакивает из-за стола первым, а весьма тактично предоставляет сделать это старшим по возрасту. Во время еды он постоянно смотрит по сторонам, стремясь по-дружески услужить кому-либо. Разве кто-то из стоящих столь же высоко, как он, способен на это? Если один из старших расскажет неудачный анекдот, он вежливо рассмеется, но стоит сослуживцу рассказать удачный, он промолчит. При этом он рассуждает примерно так: «Что будет с неудачными анекдотами, если их перестанут выпроваживать из-за стола услужливым смехом? Хорошим анекдотам смеяться вовсе не обязательно. И потом: разве не ужасно сидеть и наблюдать, как краснеют пожилые люди из-за того, что их слова не оценили. Согласись, читатель: этот бледный одинокий конторщик мыслит весьма благородно. Да, я люблю наблюдать свои персонажи во время еды. И еще: внешность нашего героя соответствует его поступкам, а поскольку поступки эти, как мы видим, не непристойны, то и внешность его не лишена привлекательности.

МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Частенько случается, что конторщик остается без места: либо его прогоняют, либо, что бывает гораздо чаще, он уходит добровольно. Таково свойство беспокойных натур, встречающихся среди подобных людей. Обычно это народ несчастный. Рабочего без куска хлеба презирают не так сильно, как конторщика без места. На то есть свои причины. Пока конторщик при деле, он наполовину хозяин. Без дела он опускается до положения робкого, лишнего и обременительного ничтожества. И это весьма печально и несправедливо! Разумеется, в нем самом, несомненно, есть известная доля беспутства, что-то злое и нехорошее заложено в его характере. Но разве по этой причине сам человек ни на что более не пригоден? Слава богу, таких опустившихся в коммерческом деле

немного, иначе худо пришлось бы общественному порядку и спокойствию. Голодный конторщик — явление самое что ни на есть ужасное. Голодный рабочий не так ужасен, как он. Рабочий может не сходя с места получить работу. Конторщик никогда, по крайней мере не в нашей стране. Да, любезный читатель, в этом сочинении, где я рассказываю тебе о бедных отверженных без места, мне не к лицу шуточный тон прежних глав. Это было бы слишком жестоко. Чем же обычно занимаются конторщики без места? Они ждут! Ждут вакансии. А пока они ждут, их гложет раскаянье, терзает самым жестоким образом. Обычно им никто не помогает, ибо кому охота связываться с грязным сбродом. Это печально. Я знаком с одним конторщиком, который шесть месяцев кряду был без места. Он ждал с лихорадочным страхом. Почтальон был для него и ангелом, и чертом: ангелом, когда он приближался к его двери, а чертом, когда он равнодушно шагнул мимо. Наконец, этот конторщик от скуки, буквально снесшей его, принялся сочинять стихи и накропал несколько отменных стишков. Был он тонкой, чувствительной натурой. Получил ли он место? Нет, на днях он отказался от нового места. Вот какой глупый и недалекий. Вероятно, он болен, потому что нигде подолгу не задерживается. И некоторые сведущие люди предрекают ему страшный конец. Несомненно, он погибнет. Как видите, и среди конторщиков попадают люди трагической судьбы. Вот на какие чудеса способна природа! Не пренебрегает даже конторщиком. Читатель, или ты, милая читательница! Если слезы не вызывают у тебя отвращения, если ты иногда плачешь с горя, то не забудь приберечь одну слезинку из твоих прекрасных глаз для конторщика, страдающего неизлечимой болезнью, описанной мною выше.

ПИСЬМО НА ПРОБУ

Дорогая мама! Ты спрашиваешь меня, как мне работается на новом месте? О, совсем неплохо. Работа легкая, люди вежливые, начальник строгий, но справедливый. Чего же еще желать? Я очень быстро свыкся с новой работой, мне недавно сказал об этом бухгалтер, и я рассмеялся. Бывают горькие и плохие минуты, но их не нужно принимать близко к сердцу. Для чего тогда забывчивость! Я люблю вспоминать хорошее и приятное, приветливые и доброжелательные лица и всегда радуюсь этому вдвойне и даже втройне. Радость кажется мне самым важным, ценным и достойным того, чтобы хранить в памяти. Так что же мешает мне поскорее забыть печальное! Я люблю, когда у меня много работы. Если я бездельничаю, то делаюсь раздражительным и грустным. Тогда меня одолевают думы, а мысли без цели и смысла настраивают меня на грустный лад. Жаль, что мне не дают больше работы. Как бы мне хотелось полностью занять себя! Вообще мне следует постоянно быть занятым, иначе у меня все внутри восстает. Ты меня понимаешь, правда? Вчера я впервые надел новый черный костюм. Все говорят, что мне он весьма к лицу, в нем у меня гордый вид и манеры совсем не конторщика, но все упирается в одно: пока я всего-навсего конторщик и, вероятно, буду им еще долго. Да что я такое болтаю! Разве я хочу другого? Я совсем не стремлюсь высоко взлететь. Для великого у меня не та фигура. Я так робок, дорогая мама, так быстро теряюсь. И лишь работа позволяет мне все забыть. Иногда меня охватывает страстное желание, не знаю только чего. Тогда мне все не нравится, все я делаю не так. Но, дорогая любимая мамочка, это бывает только, когда у

меня нет дела. Я слишком мало занят. О, как я хорошо ощущаю, что праздность чревата грехом! Здорова ли ты, дорогая мама? Ты должна всегда быть здоровой. Вот увидишь, сколько радости я тебе еще доставлю. Если бы я мог доставить тебе тысячу, миллион радостей! Каким прекрасным создал бог мир! Ведь принося радость себе, я приношу ее и тебе. Моя работа — единственная истинная радость. Работая, я быстро выдвинулся, а мое продвижение опять-таки доставит тебе радость. Если бы мне пришли на ум иные слова, чтобы убедить тебя в правильности моих устремлений, я не преминул бы употребить их. Но я знаю, что ты и так обо мне самого лучшего мнения. Добрая-предобрая мама. Пока, пока!

Твой послушный сын.

ЖИВАЯ КАРТИНКА

Сцена. Голое идеально чистое помещение. Шкафы, столы, стулья, кресла. Сзади большое окно, куда скорее падает, а не то что оттуда виден кусок ландшафта. На заднем плане дверь. Слева и справа белые стены, вдоль которых стоят шкафы. Несколько конторщиков заняты обычной работой: открывают и закрывают книги, пробуют перья, кашляют, смеются, тихо переругиваются и про себя злятся. На переднем плане молча трудится молодой, бледный, удивительно красивый служащий с удивительно приятным, спокойным выражением лица. Он строен, темные волнистые волосы точно живые колышутся на лбу, у него тонкие узкие руки. Он как будто сошел со страниц романа. Но сам он словно и не подозревает о своей красоте, его движения скромны и робки, а взгляд осторожен и боязлив. У него черные, иссиня-черные глаза. Иногда на его губах появляется приветливая, болезненная улыбка. В такие минуты — зритель должен это чувствовать особенно остро — он необычайно хорош. Хочется спросить: что делает этот молодой, красивый художник в этом помещении? Как ни странно, его обязательно принимают за художника или отпрыска обедневшего аристократического рода, что почти одно и то же. Но вот влетает широкоплечий, откормленный начальник. Конторщики мгновенно замирают в самых комических позах, которые порой компрометируют их, — так сильно действует на них появление начальника. И только наш красавец продолжает работать как ни в чем не бывало — беззаботно, простодушно, невинно! Но начальник обращается именно к нему, и как видно, весьма нелюбезно. Красавец краснеет перед лицом этой грубой и грозной силы. Когда тот вылетает из комнаты, служащие облегченно вздыхают, а он готов расплакаться: он не выносит упреков, у него нежная душа. Не плачь, красавец! Странные чувства переполняют сердца зрителей: ну, не плачь, красавец. Особенно остро это чувствуют женщины. Но из прекрасных глаз по тонко очерченным щекам катятся крупные слезы. Подперев голову рукой, он погружается в думы. Между тем рабочий день окончен: об этом, постепенно темнея, возвещает ландшафт в оконной раме. С радостным шумом конторщики покидают свои места, складывают принадлежности и словно бы растворяются. Все происходит очень быстро, как в жизни. Остается только красавец, погруженный в раздумья. Бедный, одинокий красавец! Отчего ты конторщик, разве на свете не нашлось для тебя места получше этого тесного, затхлого

бюро? А ты все думаешь, думаешь... Эхма! И тут мертвый, жестокий, убийственный занавес падает.

СОН

Как-то один конторщик рассказал мне следующий сон:

«Сидел я в комнате. Вдруг стены комнаты раздвинулись. Я обмер. И влетает в комнату дубовая роща, а в роще сумрачно-темно. Потом лес эдак изогнулся, будто страница большой, толстой книги, и я оказался на горе. Вместе с приятелем, тоже конторщиком, помчался я по склону горы вниз. Очутились мы на берегу черного, скрытого в тумане озера и бросились в камышах в грязную, холодную воду. Тут откуда-то сверху звонкий женский голос кричит нам, чтобы мы поднимались наверх. Как зазвенит в ушах от этого крика! Вышел я из воды, побежал по крутому скалистому склону вверх. Цепляясь за маленькие деревца, ощутил я под собой страшную бездну, хотел было взобраться на последнюю крутую скалу, как вдруг соскользнул вниз: скала сделалась мягкой, как простыня, она подалась и стала опускаться вместе со мной, ухватившимся за нее, в пропасть. Чувство безграничной боли пронзило меня. Я летел-летел и очутился в той же комнате. На дворе шел дождь. Открылась дверь, и вошла женщина, с которой я когда-то был очень близок. Мы разошлись: то ли я ее обидел, то ли она меня — неважно. А здесь она такая милая, такая ласковая: улыбаясь, подходит ко мне, садится рядышком и говорит, что из всех живущих на свете любит только меня. Мельком я вспоминаю своего приятеля. Но я так счастлив, что не могу долго думать о нем. Я обнимаю прекрасное стройное тело женщины, ощущаю материю, материю платья и гляжу своей возлюбленной в глаза. Какие они большие и прекрасные! Бывал ли я когда-либо так счастлив? Хотя идет дождь, мы гуляем. Я прижимаюсь к ней, и мне кажется, что ей хочется еще сильнее прильнуть ко мне! Какое податливое поющее тело! Какая улыбка на губах, какая гармония тела, движений, слов и улыбок! Мы так мало говорим, ее странное платье словно беседует со мной. Странно, но нам не до поцелуев: вероятно, наша любовь слишком неожиданна. Ах, да что там! Держать ее, с которой, как я думал, мы расстались навеки врагами, в своих объятиях, вдыхать запах любимых рук — я без ума от этого и почти без чувств. Мы снова входим в комнату. Там сидит мой приятель, он удивленно смотрит на нас и выходит. «Мы чем-то обидели его?» — спрашиваю я себя. А она, словно надломленный цветок, падает к моим ногам, целует мне руки, хочет любить только меня, меня одного из всех людей на свете». Вот что рассказал мне конторщик.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Настоящие записки скорее каприз, ветреная игра чувств, нежели точная зарисовка. Но право, даже очень серьезный человек обнаружит в них известную серьезность. Хочу в заключение попытаться коротко изложить, каким мне видится мир, в который я так опрометчиво попал. Конторщики в своем большинстве народ столь же наивный, сколь и деловой. Пороки средь и их встречаются весьма редко. В них есть что-то забавное, иначе у меня, полагающего, что знаю их достаточно хорошо, наверняка не было бы причин

смеяться над ними в начале этих записок. Но я бы удивился, если б кто-то обнаружил в этом смехе неприязнь. Конторщики — люди весьма почтенные. И если в обществе им уделяют меньше внимания, чем, скажем, студентам или артистам, то это не имеет или имеет мало общего с чувством истинного уважения. Тихо, уединенно и скромно занимаются они своей работой. Это скорее достоинство, кстати, весьма полезное им и остальному человечеству. У них развито чувство дружбы, чувство семьи и родины. Любят они и природу. Она представляется им благотворной, приятной противоположностью тесноте и узости собственной деятельности. Что до прекрасного, то все они стараются привить себе естественный, простой взгляд на искусство. Они равнодушны к поэтам и художникам своей страны. Существуют сословия, пользующиеся гораздо большим уважением и большими общественными благами, но в вопросах естественного вкуса гораздо более отсталые, чем эти менее привилегированные. Как правило, конторщики происходят из хороших семей. В политике им есть что сказать, и делают они это хоть и темпераментно, но с умом. Изучение законов страны они считают своей наипервейшей обязанностью, и чтоб запомнить их, напрягают память гораздо сильнее выходцев из привилегированного класса. Они добродушны, вежливы и вместе с тем вольнолюбивы. С нижестоящими они обращаются весьма приветливо. В отношениях с вышестоящими умеют защитить свое достоинство и мнение. В их характере есть доля тщеславия, которое легко обнаружить. Ну и что! Именно это я в них и ценю. Всякий мало-мальски интеллигентный человек тщеславен. А тщеславней всех тот, кто хочет показать, будто он лишен этого. К порокам они относятся, как правило, с суровым осуждением, как и подобает очень точным, честным и порядочным людям. Вероятно, они и сами не станут отрицать, что у них есть недостатки. У кого их нет! Мне же хотелось представить их в как можно более выгодном свете. Ведь плохое о людях слышишь гораздо чаще хорошего. Я этого не понимаю. По крайней мере, мне доставляет больше удовольствия не презирать и высмеивать, а ценить и уважать мир и людей. Надеюсь, этими словами я чуть-чуть сгладил несколько ироничный тон, в котором прежде отзывался о конторщиках. Этого мне бы искренне хотелось!

Клейст в Туне © Перевод С. Ефуни

Клейст поселился в усадьбе на одном из островков Ааре в окрестностях Туна. Теперь, когда минуло более ста лет, никто уже и не помнит подробностей его появления здесь, но думаю, пришел он сюда по узенькому десятиметровому мосту и потянул за шнур с колокольчиком. Тотчас внутри кто-то ящерницей юркнул вниз по лестнице, чтобы посмотреть, кто это там. «Можно ли здесь снять комнату?» Как бы там ни было, Клейст обосновался в трех комнатах, которые ему предоставили удивительно дешево. «Очаровательная бернка ведет мне хозяйство». Прекрасные стихи, ребенок и подвиг — вот что овладевает его помыслами. Впрочем, он немного болен. «Шут его знает, чего мне не хватает? Что мне надо? Здесь так хорошо».

Разумеется, Клейст сочиняет стихи. Иногда он ездит в Берн и читает написанное друзьям. Разумеется, все его чрезвычайно хвалят, что, однако, не мешает считать его человеком несколько эксцентричным. Он пишет «Разбитый кувшин». Но к чему все это? Наступает

весна. Луга в окрестностях Туна усыпаны цветами, все кругом наполнено запахами, жужжаньем, движеньем, звуками и ленью. С ума можно сойти, как тепло на солнце! Но стоит только Клейсту сесть за письменный стол и начать писать, и его мозг застилает слепящий огненно-красный дурман. Клейст проклиняет свое ремесло. Он приехал в Швейцарию, чтобы стать крестьянином. Отличная мысль! В Потсдаме и не такое напридумаешь! Вообще, поэты любят выдумывать. Он часто сидит возле окна.

Сейчас, наверно, около десяти часов утра. Ему так одиноко. Хочется услышать чей-нибудь голос, но чей? Ощутить чье-то прикосновение, ну а дальше? Чье-то тело. Но зачем? За белой дымкой и туманами в обрамлении неестественно красивых гор спряталось озеро. Как слепит и бережит душу панорама гор! Вся земля до самой воды — сплошной сад, и кажется, будто в синеватом воздухе повисло бесчисленное множество цветочных мостов и дымчатых террас. Как приглушенно поют птицы средь этого моря солнца и света! Они счастливы и сонливы. Положив голову на локоть, Клейст все смотрит и смотрит. Он хочет забыться. В памяти всплывает картина далекой северной родины. Он отчетливо видит лицо матери, слышит знакомые голоса. Будь проклято все! Он вскакивает, выбегает в сад, садится там в лодку и гребет, гребет далеко в открытое утреннее озеро. Поцелуй солнца единственный и непрерывно повторяющийся. Ни ветерка. Ни дуновенья. Горы кажутся произведением ловкого декоратора, или же они выглядят так, словно вся местность альбом, в котором искусный дилетант нарисовал на чистом листе горы — с посвящением в стихах на память хозяйке альбома. У альбома бледно-зеленая обложка. Все так. Отроги гор на берегу озера почти зеленого цвета, и такие высоченные, такие глупые, такие невесомые! Ля-ля-ля! Он раздевается и прыгает в воду. Как несказанно благодно у него на душе! Он плывет и слышит доносящийся с берега женский смех. Лодка лениво покачивается на зеленовато-синей воде. Природа словно единственное долгое ласковое прикосновение. Как это радует и в то же время так печалит!

Порою, особенно тихими вечерами, ему кажется, будто он тут на краю света. Альпы представляются ему недостижимыми вратами раскинувшегося высоко в горах рая. Он ходит взад-вперед по своему маленькому островку, меряя его шагами. Бернка развешивает белье на кустах, излучающих мелодичный, желтый до боли прекрасный свет. Лики снежных гор так неверны, на всем лежит печать последней, неприкасаемой красоты. И кажется, будто плавающие в камышах лебеди заморожены этой красотой и вечерним светом. Воздух болен. Клейсту хочется оказаться в самом пекле войны, всражении. Он чувствует себя жалким и лишним.

Он отправляется на прогулку. Почему, с улыбкой вопрошает он себя, именно ему суждено ничего не делать, ничего не потрясать, не переворачивать. Он чувствует, как в нем тихонько стонут соки и силы. Его душа жаждет физического напряжения. Меж высоких древних стен, серые камни которых страстно обвивает темно-зеленый плющ, он поднимается к расположенному на вершине холма замку. В отстоящих далеко от земли окнах мерцает отсвет вечерней зари. Наверху, у самого обрыва скалы притулился изящный павильон, там он сидит, всей душой погрузившись в сверкающий ореол тихого

ландшафта. Он удивился бы, если бы чувствовал себя хорошо. Прочесть газету? А что? Затеять глупую политическую или никчемную беседу с одним из уважаемых, тупых чинуш? Да? Он не несчастен. В глубине души он считает счастливыми тех, кто безутешен. С ним дело обстоит несколько хуже, капельку хуже. Несмотря на все свои неясные, осторожные, изменчивые чувства, он слишком эмоционален, слишком современен, чтобы быть несчастным. Ему хочется кричать, плакать. Что со мной? Он торопливо сбегает вниз по сумеречному холму. Ночь приносит облегчение. У себя в комнате он усаживается за письменный стол, решив работать до изнеможенья. Свет лампы застилает ему вид окрестностей, в голове у него проясняется, и вот он уже пишет.

В дождливые дни здесь ужасно холодно и пустынно. Окрестность замораживает его. Зеленые кусты всхлипывают, стонут и плачут после солнца каплями дождя. Грязные, чудовищные облака давят на плечи гор словно огромные, грязные руки убийц. И кажется, будто земля хочет укрыться от ненастья, хочет сжаться. Озеро жесткое и мрачное, и волны бормочут злые слова. Штормовой ветер напоминает о себе жутким воем и, не находя выхода, бьется о стены скал. Темно и тесно, тесно! Все опостылело! Хочется взять в руки дубинку и крушить все вокруг. Прочь отсюда! Прочь!

Но вот снова выплыло солнце, и, стало быть, снова воскресенье. Звонят колокола. Народ выходит из стоящей на горе церкви: девушки и женщины в шитых серебром облегающих черных корсетах, мужчины в простой и строгой одежде. В руках они держат молитвенники. И лица у всех такие умиротворенные и красивые, словно исчезли заботы, разгладились морщины горя и ссор, а все тяготы труда позабыты. А колокола! Как они гудят, как выплескивают волны звуков! И как светится, сияет голубизной и наполняется колокольным перезвоном весь этот залитый воскресным солнцем городок! Толпа рассеивается. Весь во власти странных ощущений, Клейст стоит на церковной лестнице и смотрит вслед спускающимся с холма. Среди них есть молоденькие крестьянки, которые шагают по ступенькам словно привыкшие к величию и свободе принцессы. А вон красивые, молодые, пышущие здоровьем парни из деревень, — да каких деревень! — не тех, что внизу, не парни с равнин, а парни, сошедшие с причудливо высеченных в горах долин, порою столь узких, словно рука великана. Это парни с гор, где поля и луга круто опускаются в расселины, где рядом со зловещими безднами на крохотных клочках земли растет теплая пахучая трава, где дома пятнышками вкраплены в пастбища, и если стоять внизу на широкой проселочной дороге и смотреть вверх, то не верится, что там, наверху, могут жить люди.

Клейст любит воскресенье, любит природу, когда в глазах рябит от голубых курток и крестьянских нарядов на дороге и главной улице. Там, на улице, в каменных подвалах вдоль дороги и в маленьких ларьках штабелями сложен товар. Торговцы по-крестьянски кокетливо нахваливают свои дешевые сокровища. Обычно в ярмарочные дни светит особенно яркое, теплое и глупое солнце. Клейст любит потолкаться в пестром людском водовороте. Отовсюду пахнет сыром. В лавки, что получше, степенно заходят серьезные, порой красивые крестьянки, чтобы сделать покупки. Многие мужчины курят трубки. Мимо тащат свиней, ведут телят, коров. Кто-то останавливается, смеется и палкой

подгоняет розового поросенка. Тот упирается. Тогда его суют под мышку и несут дальше. Люди в одежде источают запахи, из трактиров доносится шум кутящих, танцующих и обедающих. Сколько звуков и сколько свободы! Порой повозки не могут проехать. Лошадей обступают торгующиеся, говорливые люди. Как точно солнце отражается на предметах, лицах, платках, корзинах и товарах! Все движется, и сверкающие солнечные блики красиво и естественно перемещаются вместе с ними. Клейсту хочется молиться. Ему кажется, что нет музыки прекрасней и возвышенней, нет души утонченней, чем музыка и душа этого человеческого муравейника. Он идет дальше. Мимо женщин с высоко подобранными юбками, мимо девушек, почти величественно несущих на головах корзины подобно тому, как итальянки носят кувшины, ему это знакомо по репродукциям с картин, мимо горланящих мужчин и пьяных, мимо полицейских, мимо школяров, у которых на уме одни проказы, мимо тенистых уголков, от которых веет прохладой, мимо канатов, палок, съестных припасов, фальшивых ожерелий, ртов, носов, шляп, лошадей, вуалей, шерстяных носков, колбас, кругов масла и кубов сыра, сквозь толпу к мосту через Ааре, на котором он останавливается, облокотившись о перила, чтобы понаблюдать за красотой устремляющихся по течению темно-синих вод. Над ним сверкают и горят кипяще-красным огнем башни замка. Это почти Италия!

Иногда в будни ему представляется, будто весь городок заколдован солнцем и тишиной. Он молча стоит у причудливой старинной ратуши с остроконечными цифрами даты создания на матово-белой стене. Все затерялось, словно мелодия народной песни, забытой людьми. Мало жизни, более того, ее вовсе нет. Он поднимается по деревянному настилу лестницы к бывшему графскому замку, дерево пахнет стариной и канувшими в небытие людскими судьбами. Наверху он присаживается на широкую с изогнутыми ножками зеленую скамью, чтобы обозреть окрестности. Но почему-то закрывает глаза. Ужасно, все выглядит таким заспанным, пропыленным, безжизненным! Ближайшая округа словно окутана далекой, белой, мечтательной дымкой. Все заволочло горячим облаком пара. Лето, но какое, собственно, лето? Я не живу, кричит он и не знает куда девать глаза, руки, ноги, дыхание. Мечты... Ничего реального. Прочь все мечты! Наконец он убеждает себя: все из-за того, что ему живется слишком одиноко. Его страшит ощущение собственной неуступчивости по отношению к окружающим.

Но вот настает черед летних вечеров. Клейст сидит на высокой кладбищенской стене. Здесь так влажно и в то же время так душно. Он расстегивает платье, чтобы освободить грудь. Внизу, словно низвергнутое могучей рукой создателя, в желтых и красных лучах солнца распростерлось озеро. Но свет будто поднимается из глубины вод. И озеро горит. Альпы ожили и словно по волшебству окунают свои вершины в воду. Лебеди там, внизу, на озере, кружат вокруг его тихого островка, и кроны деревьев в темной поющей, благоухающей неге колышутся над ним. Над чем? Ах, все пустое, пустое. Клейст упивается всем этим. Для него сверкающее темным блеском озеро — ожерелье, длинное ожерелье на большом теле спящей незнакомки. И липы, и ели, и цветы благоухают. Доносится тихий, едва уловимый благовест; он слышит и словно бы видит его. Это ново. Ему хочется чего-то непостижимого, необъяснимого. Внизу, на водной глади озера

покачивается лодка. Клейст не видит ее, он видит только, как вытанцовывают ее фонари. Он сидит, наклонив лицо, словно приготовившись к смертельному прыжку в эту прекрасную картину глубины. Он хочет умереть в этой картине, хочет только видеть, превратиться в зрачок! Нет, все не так, совсем не так. Пусть воздух станет мостом, а весь ландшафт — перилами, чтобы прислониться к ним в усталом блаженстве всеми чувствами. Землю окутывает ночь, но ему не хочется идти домой, он кидается ничком на скрытую среди кустов могилу, летучие мыши кружат над ним, острые кроны деревьев что-то нашептывают тихим дуновеньям ветерка. Как сладко пахнет трава, под которой покоятся скелеты умерших! Он счастлив, до боли счастлив. Так вот откуда эта удушающая, сухая боль! И это одиночество! Почему бы покойникам не прийти и не побеседовать полчаса с одиноким человеком?! Ведь летней ночью у кого-то из них должна же быть возлюбленная! Мысль о губах и матово мерцающих грудях гонит Клейста вниз с горы, на берег, в воду, прямо в одежду, со слезами и смехом.

Недели бегут. Клейст рвет один черновик, другой, третий. Он стремится к высшему совершенству. Хорошо- хорошо. Но что такое? Ты сомневаешься? В корзину. Да здравствует новое, неистовое, прекрасное! Он начинает «Семпахерскую битву». В центре ее фигура Леопольда Австрийского, необычная судьба которого притягивает его. В промежутках он вспоминает Робера Гискара.[11] Его он превозносит. Он видит, как счастье быть разумно мыслящим человеком с обыкновенными чувствами разбивается на куски, которые с гулом и грохотом катятся по склону его жизни, а он еще подталкивает их. Итак, решено. Он хочет полностью отдаться неблагоприятной судьбе поэта: самое лучшее — как можно скорее сгинуть!

Сочинительство играет с ним злую шутку: оно не удастся. К осени Клейст заболевает. Он удивляется покорности, которая овладевает им теперь. В Тун приезжает сестра, чтобы увезти его домой. Глубокие морщины бороздят его щеки. У него черты и цвет лица человека с истерзанной душой. Глаза даже более безжизненны, чем брови. Волосы толстыми сосульками свисают на лоб, изборожденный следами дум, которые, как он воображает, тянут его в грязные ямы и пропасти. Звучащие в его мозгу стихи кажутся ему вороньим карканьем: он готов вырвать у себя память. Ему хочется выплеснуть жизнь, но вначале нужно разбить сосуды жизни. Его ярость под стать боли, а желчь — жалобам!.. «Что с тобой, Генрих?» — ласково спрашивает его сестра. Ничего, ничего. Не хватало только сказать ей, что с ним! На полу комнаты, словно брошенные родителями дети, валяются рукописи. Он протягивает сестре руку и довольствуется тем, что долго и молча рассматривает ее. Рассматривает так пристально, что девушка пугается.

Но вот они отъезжают. Служанка, что вела Клейсту хозяйство, говорит им «адьё». Солнечное осеннее утро. Карета катит мимо людей по мостам, мощеными переулками. Люди выглядывают из окон. Высоко в горах под деревьями желтеет листва. Кругом чистота. Осень. Что-то будет? Во рту у кучера трубка. Все как всегда. Клейст забился в самый угол кареты. Башни Тунского замка исчезают за холмом. Позже сестра Клейста еще раз увидит вдали то самое красивое озеро. Как будто стало холоднее. Попадаются усадьбы. Вот тебе и на! Откуда барские усадьбы в этих горных местах? Едут дальше. Все

летит, опрокидывается под косыми взглядами куда-то назад, танцует, кружится и пропадает. Многое уже скрыла осенняя дымка. И все позолочено солнцем, чуть пробивающимся сквозь облака. Ну что за золото и как сверкает, а ведь валяется в самой грязи! Горы, отвесные скалы, долины, церквушки, деревеньки, зеваки, дети, ветер, облака. Ну и что? Что особенного? Разве это не постылые будни? Клейст ничего не замечает. Он мечтает об облаках, о картинах и немного о милых, желающих, глядящих, человеческих руках. «Как ты?» — спрашивает Клейста сестра. У Клейста дергаются губы, и он пытается улыбнуться ей, и это ему удастся, но удастся с трудом. Прежде чем улыбнуться, с губ словно пришлось сдвинуть каменную глыбу.

Сестра осторожно заводит речь о том, что надо-де поскорей заняться каким-нибудь практическим делом. Он согласно кивает, он и сам того же мнения. В его воображении пляшут и играют светлые огоньки. Откровенно признаться, ему сейчас очень хорошо, больно и в то же время хорошо. Что-то болит внутри, по-настоящему болит, но не грудь, не легкие, не голова. Но что тогда? В самом деле болит? Совсем ничего? Да нет, где-то немного болит. В том-то и дело, что точно не определишь. А посему не стоит и думать. Он что-то говорит, но вот наступает момент, когда он совсем по-детски счастлив. И тут, конечно, девушка делает строгое укоризненное лицо: нужно же дать ему почувствовать, как странно он играет своей жизнью. Ведь девушка настоящая фон Клейст и получила воспитание, от которого брат хотел отмахнуться. Естественно, она всей душой рада, что ему полегчало. Вперед! Н-но-н-но! Ну и езда! Позднее придется отказаться от этой почтовой кареты. И напоследок позволим себе заметить, что на фасаде дома, где останавливался Клейст, висит мраморная доска, извещающая о том, кто здесь жил и творил. Путешествующие по Альпам могут прочесть ее. Дети в Туне читают ее и о слогам, букву за буквой, а после удивленно переглядываются. Может прочесть ее еврей, и христианин, если у него есть время и поезд еще не тронулся, и турок, и ласточка, если ее это интересует; и я, я тоже могу еще раз прочесть эту надпись. Тун расположен в самом начале Бернского нагорья; ежегодно его посещают тысячи туристов. Я немного знаком со здешними местами, ибо служил там на акционерном пивоваренном заводе. Места эти гораздо красивей, чем мне удалось их описать: озеро раза в два голубее, а небо красивей раза в три. В Туне была выставка художественных ремесел, не помню только когда, по моему, года четыре назад.

Светская хроника © Перевод С. Ефуни

Стоило господину Церрледеру-старшему опоздать вечером домой, как его озорник-сын немедленно положил папашу к себе на колени и хорошенько выпорол. «Впредь», сказал сын отцу, «я вообще не дам тебе ключи от дома, понял?» Мы не знаем, было ли это понято без дальнейших разъяснений или нет. На следующее утро дочь дала матери звонкую пощечину (точнее говоря, очень звонкую) за то, что та слишком долго вертелась перед зеркалом. «Кокетство», сказала возмущенная дочь, «это позор для пожилых людей вроде тебя». И выгнала бедняжку на кухню. На улице и в свете происходили небывалые вещи: девушки по пятам ходили за молодыми людьми, докучая им своими предложениями. Некоторые из преследуемых юношей краснели, слушая дерзкие речи фланирующих дам.

Одна такая дама средь бела дня напала на скромного, добропорядочного юношу, который с криком обратился в бегство. Я сам, более распущенный и менее добродетельный, поддался уговорам какой-то молоденькой девицы. Некоторое время я сопротивлялся, нарочно жеманясь, чем еще больше распалил страстную домогательницу. К счастью, она меня бросила, что мне было только на руку, ибо я предпочитаю дам из хороших семей. В школе учителя в седьмой или восьмой раз не выучили уроки и в наказание были оставлены после занятий. Они плакали навзрыд, ибо с большим удовольствием провели бы послеобеденное время за пивом, игрой в кегли и другими никчемными занятиями. На улице прохожие, не стесняясь, писали на стены. Случайно прогуливавшиеся поблизости собаки натурально приходили от этого в ужас. Некая благородная особа тащила на своих хрупких плечиках лакея в сапогах и со шпорами. Краснорожая служанка каталась в открытой коляске владетельного герцога и при этом мило улыбалась тремя кривыми зубами. В коляску были впряжены студенты, которых ежесекундно погоняли, стегая кнутом. Несколько грабителей мчались вдогонку за арестованными судебными приставами, которых они сцапали дорогой в пивных и борделях. Эта сцена привлекла внимание стаи собак, которые с наслаждением кусали пойманных за ляжки. Вот что может приключиться, ежели судебные приставы нерадивы! И вот на этот погрязший в беспутстве и грехах мир сегодня после обеда взяло да и свалилось небо, причем свалилось безо всякого шума. Мягкой, мокрой простыней, и все скрыло. Одетые в белое ангелы босиком бегали по улицам и мостам и с кокетливой грацией разглядывали свои отражения в мерцающей воде. К ужасу людей несколько черных, щетинистых чертей с дикими воплями носились по городу, потрясая в воздухе вилами. Вообще они вели себя весьма непристойно. О чем еще рассказать? Небо и ад гуляют по бульварам, праведники торгуют в лавках, а грешники между собой. Кругом хаос, шум, гам, суэта, беготня и зловоние. Наконец бог сжалился над неблагодарным миром. Он снизошел до того, что взял и без долгих разговоров сунул созданную им в одно прекрасное утро землю к себе в мешок. Конечно, этот миг (слава богу, всего только миг!) был ужасен. Воздух внезапно стал твердым-претвердым, как камень. Он разбил все дома в городе, которые, словно пьяные, сталкивались друг с другом. Горы выгибали и опускали свои широченные спины, деревья летали в пространстве, будто огромные птицы, а само пространство раскисло, превратившись в холодную желтую кашу без начала и конца, без меры, без чего-то определенного, то есть вообще без ничего. А о том, чего нет, ничего и не напишешь! Даже сам господь бог испарился с горя, причиненного собственной же страстью к разрушению, так что не осталось вообще ничего — даже намека на что-то определенное и типичное.

Субчик © Перевод С. Ефун

Он служит в банке, этот небольшого роста человечек, коллеги зовут его «субчик», и к этому прозвищу он относится с внешним безразличием. Что-то уничижительное есть в его облике, да, собственно, и облика-то у него нет, а так, фигура, некое подобие, а не образ человека. Ведет он себя немного по-деревенски. Да он и в самом деле родом из деревни, как и его отец, который разносит там письма. И потому, хочет он того или нет, в нем есть что-то почтарское, да-да! — но это почти также незаметно, как выражение лица у героев

плохого романа или улыбка одного из тех ловкачей, кои привыкли улыбаться не губами, а мочками ушей. Кстати, нашего героя зовут Фриц, фамилия его Глаузер. Он берет уроки фехтования, «паршивец эдакий». Оттого у него вполне приличная выправка, и выправка эта постоянно муштрует то, благодаря чему он существует, а именно тело; небольшое, ладное тело Глаузера беспрекословно подчиняется постоянно недовольной выправке-повелителю. По выправке можно кое о чем судить, над телом же можно немного и позлословить, тем более что Глаузера вечно недолюбливают.

Например, поговаривают, будто он карьерист, в чем конечно же есть доля правды, но это тонкий, осознанный карьеризм, в тон «урокам фехтования». Глаузер норовит понравиться большому и маленькому начальству. Идея неплохая, но в глазах коллеги Зенна, «строптивного вассала», это низко. Стоически, даже с любовью, Глаузер сносит отдающее кислым спертое дыхание своего начальника Хаслера, когда тот неожиданно вырастает у него за спиной, ибо Глаузер уговаривает себя: «Приличия ради я ничего не имею против подобных дыхательных упражнений. Более тонкий аромат был бы мне куда приятней. Однако ежели так дышит начальство, что ж, я это стерплю».

Он умен, с характером, и не делает глупостей. Другого своего коллегу, Хельблинга, он презирает, но презирает с оглядкой, а еще одного коллегу, Таннера, считает добрым, но беспринципным малым. Хельблинг не хочет работать, у Таннера в работе нет цели; Глаузер же работает над собой; он чувствует в себе призвание к великим делам и мысленно делает карьеру.

Еще он экономит, обедая за тридцать или сорок раппенов. И сумма эта импонирует ему, поскольку отвечает его планам. Курить он себе не позволяет, хотя ему этого и хочется, зато он носит перчатки и внушительного вида трость с серебряным набалдашником. Это, разумеется, роскошь, но, во-первых, роскошь одноразовая, и, во-вторых, человек, который к чему-то стремится, любит показать, что не ценить его просто невозможно.

«Я деревенский», частенько думает Глаузер, «и по этой причине обязан доказать городским, на что способен человек с твердой волей». Он посещает читальни, в высшей степени любознателен и умело использует преимущества городской жизни. Он говорит себе: «Ох уж эти мне городские! Бредят сельской жизнью. А библиотеки свои забросили. Ну что ж! Тогда пусть деревенские завладеют их благами».

По всей вероятности, у Глаузера интрижка с официанткой из «Быка», где он обычно ужинает. Это несколько дороже, чем в «Народном благодеянии»: к печени под соусом здесь подают пиво, но поскольку так принято, он с этим мирится. Связь с девушкой ему ни во что не обходится, ибо она любит его. Так что «субчик» в некотором роде баловень судьбы: он на хорошем счету, это приятно, это возвышает и постоянно напоминает о собственных достоинствах. И пусть другие болтают себе на здоровье!

Оклад у него маленький, но Глаузер строго-настрого запретил себе даже мечтать о большем жалованье. Это изматывает и в корне неправильно, ибо отвлекает от текущих дел, а такого знающий свой долг и обязанности человек допустить не может. «Это было

бы совсем по-хельблинговски», думает он, гордясь и радуясь, что так отменно владеет собой. Иногда он намеренно делает ошибки, чтобы получить нагоняй — из дипломатических соображений, а не то по углам начнут шипеть: «Карьерист паршивый». Каждый хочет, чтобы его хоть чуточку любили, в особенности это касается будущих начальников.

В дни зарплаты большинство служащих радуется, как дети. Звон золотых монет навевает им мысли о прекрасных моментах бытия, о наслаждениях, о потаенных человеческих чувствах. Он как бы взывает к сердцам и пробуждает воображение. Но не таков Глаузер. С улыбочкой служащей, обычно выдающей деньги, он обращается холодно, и когда премилая кассирша, исполняя свои обязанности, подходит к нему, ведет себя следующим образом: «Ну, пошевеливайся же, дуреха!» Радоваться не в его натуре, его наслаждения тоньше и осмысленней.

Тем не менее он участвует в совместных воскресных развлечениях, и не только из соображений политических, но и приличия ради, дабы не прослыть тайным нелюдом. Так принято, и этого достаточно, чтобы присутствовать при сем. К танцулькам он весьма холоден, но все-таки иногда не прочь потанцевать. В отличие от выпивки танцы относятся к разряду прекрасного и интеллектуального, а посему нет нужды отказывать себе в них. И тем не менее Глаузер считает себя выше подобного занятия, как, впрочем, и выше несчастного Хельблинга, который страстно любит сие развлечение и позволяет «занятию» поглотить себя.

Глаузер читает Ницше. Читая, он лишь временами дает возможность автору увлечь себя, но только не покорить и уж никак не навязать себе какие-то образцы поведения. У него есть свое, сугубо личное мнение, и удивить его не так-то просто. Все же биография Наполеона захватила его, этот человек служит ему примером. Увлекает его и английская грамматика, которой он преимущественно посвящает часы досуга. Он член союза работников торговли, но член пассивный, дела союза его мало трогают. Кстати, ему всего двадцать лет и шесть месяцев.

Для укрепления здоровья «маленький Глаузерчик» в обеденное время почти ежедневно совершает прогулку к озеру, где прелестные лужайки, и садится там на скамейку. В тени ему так же хорошо, как и на солнце. Ветерок ему приятен, но не мил, не то что «этому поэту» Таннеру. Природа полезна и красива, но никак не восхитительна. Сидя на скамейке, он читает книгу. Вокруг него природа, но вот ведь какая штука: природа располагает понежиться, а для него главное — книга. Природа согревает и становится другом, сама становится: она своего рода служанка, молчаливая добродушная няня. Ею пользуются, ибо она того стоит.

Шаг за шагом наш герой продвигается вперед. А это означает: он всегда исправно делает свое дело. Костюм на нем такой же опрятный, как и сдаваемые им работы, а поведение полностью соответствует его планам, иными словами, оно скромное, как то предписывают его великие планы. Во время работы он как бы растворяется, словно его и нет на белом

свете, невидимкой пребывая в незримых сферах долга. «Моя работа слишком скучна для меня», — думает он, довольствуясь уже тем, что подобная мысль приходит ему в голову, и не делая из этого драмы. Работает он медленно, выводя цифру за цифрой, букву за буквой, правильно, размеренно, бесстрастно, как и полагается в деле, не требующем особых талантов. Он холодно радуется этому. Глаузер, этот «субчик», испытывает чувство тайного удовлетворения, и именно оно выделяет его в глазах других, потому что «в этом что-то есть!».

«Когда-нибудь, — размышляет «маленький проныра», — я стану их начальником. То-то они удивятся». Про себя он давно решил никогда самому не менять места, а делать так, чтоб его постепенно переводили на лучшие должности. Он знает, что пройдут годы, прежде чем он выдвинется, но это его не пугает, напротив, он испытывает сатанинское удовлетворение при мысли, что ему представилась возможность упорно и долго ждать. Он убежден, что у него есть все требуемые для этого качества, и в глубине души ему смешно до чертиков. У него терпение железнодорожного шлагбаума. К тому же он ежедневно видит перед собой образец прирожденного нетерпения — Хельблинга, который постоянно засматривается на часы. «Такой долго не продержится», — думает он о нем.

Таннер тоже долго не продержится. Он работает ради работы. Это своего рода художник без цели! Молча наблюдающий за ним «субчик» в этом твердо уверен. Спустя некоторое время оба «вылетают»: Хельблинг с треском, Таннер по собственной воле. Один уходит сам, другого «уходят» с позором и насмешками. Глаузер же преспокойно плетет по искусно замысленному рисунку тонкое кружево собственной карьеры.

Он делает все и даже больше: душа конторской работы созвучна его собственной. Да-да, абсолютно серьезно. Он просто совершенствует свою душу. Он видит: ага, здесь надо сделать то-то, и с ним тотчас происходит необходимая перемена. Его энергия исключает всякое «не могу». Если душа такая мягкая, то для чего? Чтоб давить на нее! По мнению Глаузера, душа существует для того, чтобы стереть ее в порошок.

История Хельблинга © Перевод Н. Федоровой

О-о! Он многого достигнет, но до этого еще далеко. Дело подвигается медленно, но потом, когда пройдет жизнь, он сможет сказать себе, что достиг многого. Но даже если он ничего не достигнет, все-таки он прожил богатую жизнь: он всегда к чему-то стремился!

Меня зовут Хельблинг, и свою историю я расскажу сам, ведь иначе никто, верно, и не подумает ее записать. Ныне, когда человечество достигло изысканной просвещенности, едва ли так уж удивительно, если кто-нибудь вроде меня сядет к столу и примется живописать свою собственную историю. Моя история коротка, ибо я еще молод, и не будет доведена до конца, ибо я, надо полагать, проживу еще долго. Примечательно во мне то, что я человек совершенно, прямо-таки чересчур обыкновенный. Я — один из многих, и как раз это мне очень странно. Многие — вот что мне странно, и я всегда думаю: «Что же они все делают, чем занимаются?» Я форменным образом исчезаю в массе этих многих. В полдень, когда часы бьют двенадцать, я спешу домой из банка, где служу, и они

спешат вместе со мною, норовя обогнать друг друга, шагнуть пошире, но тем не менее, глядя на них, думаешь: «До дому-то все доберутся, все». И правда, до дому все они добираются, потому что среди них нет людей необыкновенных, которые способны вдруг заплутаться по дороге домой. Я среднего роста, а значит, могу порадоваться — тому, что не слишком мал и не чересчур высок. У меня, как пишут в книгах, все в меру. За обедом я всегда думаю, что в принципе мог бы не хуже, а то и лучше поесть где-нибудь в другом месте, притом, возможно, в более веселой обстановке, и тогда мысленно прикидываю, где же это найдешь изысканную еду вкупе с оживленною беседой. И пока не отыщется что-нибудь приемлемое, перед моим внутренним взором проплывают все знакомые городские кварталы, все дома. В целом я весьма тщательно слежу за собой, и вообще, думаю только о своей персоне и неустанно пекусь о том, чтобы дела мои шли как можно лучше. Происхожу я из хорошей семьи — мой отец почтенный провинциальный коммерсант, — а потому с легкостью отыскиваю изъяны во всем, что попадает мне под руку и за что я должен приняться, — например, везде и всюду усматриваю недостаток благородства и изысканности. Ни на миг меня не оставляет ощущение, будто есть во мне что-то необычайно ценное, какая-то впечатлительность и хрупкость, и по этой причине обращаться со мною надо бережно, других же я полагаю далеко не столь ценными и деликатно-чувствительными. Как же так получается?! Волей-неволей решишь, что для этой жизни ты скроен недостаточно грубо. А между тем это препятствие мешает мне выделиться, ведь если, к примеру, мне нужно выполнить некое задание, то первым делом я всегда раздумываю — полчаса, а то и целый час! Размышляю и прикидываю в уме: «Начать, что ли? Или еще повременить?» А пока суть да дело — я чувствую! — кое-кто из коллег уже приметил, пожалуй, что я человек вялый, апатичный, хотя, в сущности, я просто-напросто слишком впечатлительный. Ах, люди судят так превратно! Задание, какое бы оно ни было, неизменно пугает меня, заставляет судорожно водить ладонью по крышке бюро — до тех пор, пока я не обнаруживаю, что на меня устремлены ехидные взгляды; бывает и так, что я тереблю себя за щеки, хватаюсь за подбородок, провожу рукой по глазам, потираю нос, отбрасываю волосы со лба, словно моя задача состоит именно в этом, а не записана на листе бумаги, который лежит прямо передо мною. Быть может, я ошибся в выборе профессии, однако я совершенно уверен, что с любой профессией было бы так же, я бы так же поступал и так же все испортил. Из-за моей мнимой апатичности особым уважением я не пользуюсь. Меня называют фантазером и рохлей. О, люди большие мастера по части неподходящих прозвищ. Не спорю, свою работу я недолюбливаю, потому что внушаю себе, будто она слишком мало занимает и увлекает мой ум. Вот вам и еще одна загвоздка. Не знаю, есть ли у меня ум, что-то с трудом верится, ведь я уже не раз замечал, что, как только мне поручают задание, требующее здравого смысла и смекалки, я тотчас же притворяюсь дураком. Меня это и правда ставит в тупик, наводит на размышления о том, уж не отношусь ли я к сонму чудаков, которые умны лишь в собственном представлении, а вот когда надо проявить свой ум, так он у них начисто пропадает. У меня голова набита всякими хитрыми, красивыми, изощренными уловками, но едва в них возникает потребность, как они бросаются враспынную и спешат прочь, а я стою тупица тупицей. Потому и недолюбливаю свою работу, ведь, с одной стороны, в ней слишком мало пищи для ума, а с

другой, она разом выходит из моего повиновения, стоит ей только приобрести малейший оттенок хитроумия. Когда думать не надо, я обязательно думаю, а когда бы должно задуматься — не могу. По этой двойственной причине я и покидаю контору всегда за несколько минут до двенадцати, а прихожу всегда на несколько минут позже других, чем уже снискал себе довольно дурную славу. Только мне безразлично, глубоко безразлично, что они обо мне говорят. К примеру, я отлично знаю, что они считают меня дураком, но догадываюсь, что, раз уж они вправе сделать такое допущение, мне их все равно не остановить. В моем облике и правда проглядывает что-то дурацкое — в выражении лица, в манерах, в походке, в речи и вообще в натуре. Сказать к примеру, взгляд у меня определенно несколько глуповатый, что легко вводит людей в ошибку и внушает им низкое мнение о моих умственных способностях. Моей натуре свойственна изрядная дурашливость и вдобавок тщеславие; голос у меня звучит странно, будто, произнося слова и фразы, я — говорящий — понятия не имею о том, что их произношу. Что-то сонливое, не вполне-пробудившееся так и сквозит во мне, и, как я писал выше, это не проходит незамеченным. Волосы я всегда причесываю гладко-гладко, а это, наверное, еще усиливает производимое мною впечатление своенравной и беспомощной глупости. Стану вот этак возле бюро и чуть ли не минут по тридцать таращусь на конторский зал или в окно. Перо, которым надлежало бы писать, я сжимаю в праздной руке. Стою себе, переминаюсь с ноги на ногу, ведь большей подвижности мне тут не дано, смотрю на коллег и совершенно не сознаю, что в их глазах, которые косятся на меня, я — жалкий, бессовестный лентяй, только улыбаюсь, поймав на себе чей-нибудь взгляд, и предаюсь бездумным мечтам. Ах, если б я умел мечтать! Увы, я не имею об этом представления. Ни малейшего! Просто думаю, что, будь у меня куча денег, я бросил бы работу, а когда мысль эта додумана до конца, по-детски радуюсь, что сумел ее сформулировать. Жалованье, которое я получаю, кажется мне мизерным, но мне в голову не приходит сказать себе, что мои труды и этого не стоят, а ведь знаю, что толку от меня на службе практически нет. Странное дело, я совершенно не способен мало-мальски стыдиться. Если кто-нибудь, скажем начальник, устраивает мне головомойку, я прямо киплю от возмущения, так как чувствую себя оскорбленным. Для меня это нестерпимо, хоть я и твержу себе, что вполне заслужил нагоняй. Думается, я встречаю упреки начальника в штыки затем, чтобы растянуть нашу с ним беседу, ну пусть на полчаса — как-никак пройдет ни много ни мало целых полчаса, и в эти полчаса я по крайней мере не буду скучать. Полагая, что мне скучно, мои коллеги, разумеется, правы, так как скучаю я просто до ужаса. Ведь ни малейшего разнообразия! Изнывать от скуки и выдумывать способы, как эту скуку развеять, — вот, собственно, к чему сводится моя работа. Я делаю так мало, что порой у самого мелькает мысль: «Ты же правда ничего не делаешь!» Частенько меня одолевает зевота, я вдруг ненароком чуть не до потолка распахиваю рот, а вслед за тем подношу к лицу ладонь, чтобы не спеша прикрыть ею зевок. Потом я нахожу уместным подкрутить кончиками пальцев усы и, скажем, легонько постучать пальцем по бюро, точь-в-точь как во сне. Иногда все это вправду кажется непонятным сном. Тогда я жалею себя и готов лить над собою слезы. Но, когда мнимый сон тает, меня охватывает желание рухнуть наземь словно подкошенный и посильнее удариться о край бюро, чтоб изведать увлекательное блаженство боли. Душа у меня еще не перестала отзываться болью на мои

неурядицы, потому что изредка, как следует наострив уши, я улавливаю в ее глубинах тихие, жалобные, укоризненные звуки, похожие на голос моей поныне здравствующей матери, для которой я всегда был правильным человеком, не то что для отца, он в этом смысле куда принципиальней ее. Но собственная душа для меня — штука чересчур темная и бесполезная, чтоб серьезно воспринимать то, что оттуда слышится. Я не придаю этим звукам значения. По-моему, к лепету души прислушиваются только от скуки. Когда я торчу в конторе, члены мои постепенно деревенеют — кажется, поднеси спичку, и вспыхнет костер: бюро и человек сливаются со временем в одно целое. Время — вот постоянный предмет моих раздумий. Как быстро оно бежит и вдруг в резвом своем беге словно бы скорчивается, надламывается, а там и вовсе исчезает. Порою оно шумит, точно стая птиц на взлете или, например, лес — в лесу мне всегда слышен шум времени, и это подлинное благодеяние, потому что тогда не нужно думать. Но большей частью — какая мертвая тишина! Что же это за жизнь у человека, если она течет вперед, к концу, неслышно и незаметно! Моя жизнь, как я думаю, была до сих пор довольно пуста, и уверенность в том, что она останется пустою навек, рождает ощущение чего-то бесконечного, повелевающего уснуть и делать лишь самое необходимое. Так я и поступаю: едва почувствую за спиною дурной запах изо рта начальника, сразу притворяюсь, будто усердно тружусь, а подкрадывается начальник затем, чтобы уличить меня в безделье. Однако исторгаемый им воздух выдает его. Этот человек обязательно привносит в серые будни немного разнообразия, вот почему я пока отношусь к нему вполне благосклонно. Но что же, что побуждает меня так мало считаться с моими обязанностями и предписаниями? Я невысокий, с виду бледный, застенчивый, сублильный, элегантно одетый, манерный субъект, переполненный никчемною впечатлительностью, и если удача вдруг изменит мне, я жизненных тягот не вынесу. Разве мысль о том, что меня уволят с должности, если я буду продолжать в таком духе, не способна внушить мне ужас? Как будто бы нет, а как будто бы да! Я и боюсь немножко, и не боюсь. Возможно, я слишком ограничен, чтоб бояться, больше того, я даже готов поверить, что ребячливое упрямство, с каким я стараюсь на людях выглядеть довольным, есть признак слабоумия. Однако же это как нельзя более под стать моему характеру, из-за которого я то и дело совершаю не вполне обычные поступки, хотя бы и в ущерб себе. К примеру, я — опять-таки в нарушение распорядка — приношу в контору небольшого формата книжки, разрезаю их там и читаю, по-настоящему не испытывая от чтения никакого удовольствия. Но со стороны это воспринимается как утонченная строптивость человека образованного, желающего превзойти других. А я как раз и хочу всех превзойти и с пылом охотничьего пса жажду отличиться. Когда я читаю, а ко мне подходит коллега и задает, казалось бы, вполне уместный вопрос: «Что это у вас за книга, Хельблинг?» — меня охватывает злость, ибо в данной ситуации прилично представиться злым и тем отвадить фамильярного говоруна. За чтением я до невозможности важничаю, озираюсь по сторонам, примечая, кто наблюдает за мной (ах, как мудро некоторые просвещают свой ум-разум!), разрезаю с вальяжной медлительностью страницы и даже не читаю уже, довольствуясь одною позою погруженного в чтение человека. Вот таков я: мошеничаю в расчете на внешний эффект. Я тщеславен, но в тщеславии своем полон какого-то грошового довольства. Платье у меня не бог весть какое изящное, зато я усердно меняю

костюмы, ибо люблю показать коллегам, что костюмов у меня несколько и что я не безвкусен в подборе цветов. Мне нравится носить зеленый, так как он навевает воспоминания о лесе, а желтый я надеваю в свежие, ветреные дни, ведь он очень под стать ветру и танцам. Возможно, я ошибаюсь, да наверняка так оно и есть — если подсчитать, сколько раз на дню меня попрекают ошибками. В конце концов сам начинаешь верить, что ты наивный дурак. Впрочем, какая разница, кто ты — простофиля или солидный умник, ведь дождь одинаково поливает и осла, и уважаемую персону. А уж о солнце даже говорить нечего! Я счастлив, когда с двенадцатым ударом часов иду домой, наслаждаясь солнечной погодой, а когда моросит дождь, я раскрываю большущий купол-зонтик, чтобы не намочить шляпу, которой очень дорожу. Со шляпой я обхожусь весьма бережно, и мне всегда кажется: раз я еще могу прикоснуться к шляпе легким, привычным жестом, стало быть, я еще вполне счастливый человек. Особую радость я испытываю после работы, аккуратно водружая шляпу на голову. Для меня это — желанное завершение дня. Моя жизнь состоит сплошь из мелочей — твержу я себе вновь и вновь и не перестаю удивляться. Великие общечеловеческие идеалы никогда не увлекали меня, шумные восторги казались мне неуместными, так как по сути я больше тяготею к критицизму, нежели к прожектерству, с чем себя и поздравляю. Я из тех, кого оскорбляет встреча с идеальным человеком — его длинные волосы, сандалии на босу ногу, меховая повязка на бедрах, цветы в волосах. Я в подобных случаях только смущенно улыбаюсь. Ужасно хочется захохотать, а нельзя, да и вообще, жизнь среди людей, которым не по вкусу гладкая прическа вроде моей, скорее вызывает злость, чем смех. Сам-то я люблю позлиться, ну и злюсь, как только появляется возможность. Я частенько отпускаю ехидные замечания, а ведь у меня нет особой нужды вымещать на других собственную злобу, я же отлично знаю, каково быть объектом чужих насмешек. Но в том-то и штука: никаких выводов я для себя не делаю, уроков не извлекаю и до сих пор действую точь-в-точь как в день окончания школы. Много, очень много осталось во мне от мальчишки-школяра и, наверно, так и будет неотлучно сопровождать меня по жизни. Говорят, иные люди совершенно не воспринимают доводов разума и лишены способности учиться на ошибках и успехах других. Да, я не учусь, ибо считаю ниже своего достоинства потакать образовательному зуду. К тому же моего образования уже вполне достаточно, чтобы с некоторым аристократизмом нести тросточку, и умело повязывать галстук, и братья за столовую ложку правой рукой, и на соответствующий вопрос отвечать: «Благодарю, да-да, мы провели у вас вчера прелестный вечер!» Какую прибыль я получу от образования? Положа руку на сердце: думаю, оно тут будет совершенно не ко двору. Я домогаюсь денег и почетных титулов — вот что меня свербит, вот мой образовательный зуд! На землекопа я смотрю свысока, прямо как этакий небожитель, хотя при желании он способен одним мизинцем спихнуть меня в яму, где я по уши перепачкаюсь. Сила и красота людей бедных, скромно одетых не впечатляют меня. Глядя на них, я обычно думаю: насколько же выше поставлен в мире наш брат и насколько лучше ему живется, чем такому вот замученному работой горемыке, и сочувствие в мое сердце не закрадывается. Кстати, где у меня сердце? Я совсем о нем забыл. Прискорбно, конечно; а в каких же случаях я нахожу скорбь уместной? Скорбь испытываешь, только если обнаруживается денежный убыток, или новая шляпа не вполне по размеру, или вдруг акции на бирже падают, но

даже тогда надо еще спросить себя, скорбь это или нет, и при ближайшем рассмотрении оказывается, что не скорбь, а всего-навсего легкое сожаление, мимолетное, словно ветер. Если можно так выразиться, замечательно странно — не иметь никаких чувств, не знать, что такое ощущение. Чувства касательно собственной персоны знакомы каждому, и, по сути, это чувства недостойные, бросающие дерзкий вызов обществу. Но чувства к каждому из людей? Конечно, временами возникает желание поговорить с собою начистоту, томит какая-то смутная тоска, тянет стать добрым, предупредительным, но когда найти для этого время? Скажем, в семь утра или еще когда-нибудь? Еще в пятницу и всю субботу тоже я ломаю себе голову, чем бы таким заняться в воскресный день, ведь в воскресный день положено чем-то заниматься. Один я редко куда хожу. Обычно прибываю к компании молодых людей, прибываю — и все, попросту иду с ними вместе, хотя знаю, что спутник из меня довольно нудный. Например, катаюсь на пароходе по озеру, или хожу пешком в лес, или еду поездом куда-нибудь далеко, в красивые места. Мне часто приходится сопровождать молодых барышень на танцевальные балы, и я заметил, что нравлюсь девушкам. У меня белое лицо, красивые руки, элегантный развевающийся фрак, перчатки, перстни на пальцах, отделанная серебром трость, начищенные туфли и ласковая, праздничная натура, удивительный голос и что-то чуть досадливое в изгибе рта, этому «что-то» я так и не смог подыскать название, но, видимо, именно оно привлекает ко мне юных девиц. По речам меня легко принять за человека солидного, влиятельного. Спесивая важность пленяет, тут сомнений быть не может. Что же до умения танцевать, то танцую я как человек, который еще недавно с огромным удовольствием брал уроки танцев: бойко, без усилия, аккуратно, старательно, но чересчур поспешно и чересчур безлико. В моем танце хватает и старательности, и задора, а вот грации нет. Да и откуда ей у меня взяться! Но я до смерти люблю танцевать! Танцуя, я забываю, что я Хельблинг, — в эти минуты я прямо-таки лечу на крыльях восторга. Контора с ее несчетными пытками начисто стирается из памяти. Вокруг — раздумывавшиеся лица, аромат и блеск девичьих нарядов, взор девушек, устремленный на меня, а я лечу: возможно ли большее блаженство? Да, вот именно: единственный раз в круговерти недели мне дано испытать блаженство. Одна из барышень, которых я всегда сопровождаю, моя невеста, но обращается она со мной плохо, хуже, чем другие. Я, конечно, вижу, что верность она мне тоже не хранит, да и любит меня едва ли, а я — я-то люблю ее? У меня множество недостатков, и я чистосердечно о них рассказал, но тут всем моим изъянам и недостаткам как будто бы даруется отпущение: я ее люблю. И счастлив тем, что мне позволено ее любить и по ее милости нередко падать духом. Летом мне разрешается нести ее перчатки и розовый шелковый зонтик, а зимой я плетусь за нею по сугробам, несу ее коньки. Я мало что понимаю в любви, но чувствую ее. Добро и зло — ничто в сравнении с любовью, которой не ведомо ничего, кроме себя же самой, кроме любви. Скажу вам так: пусть я бываю обычно безвольным и легкомысленным, однако еще не все потеряно, потому что я правда способен верно любить, хотя поводов для измены у меня нашлось бы предостаточно. В солнечную погоду, под голубым небом, мы с нею катаемся на лодке по озеру, я сижу на веслах и все время ей улыбаюсь, а она, как видно, скучает. Но ведь я в самом деле скучнейший тип. Ее мать держит паршивенький, пользующийся не вполне доброй репутацией трактирчик для рабочего люда, где я

просиживаю все воскресные дни, молчу и только смотрю на нее. Изредка она склоняется ко мне, чтобы я поцеловал ее в губы. Личико у нее прелестное, право же прелестное. Давнишний шрам на щеке слегка кривит ее рот, но это ее не портит, скорее наоборот, добавляет ей прелести. Глаза у нее совсем небольшие, и взгляд такой лукавый, словно говорит: «Ну берегись, уж я тебе покажу!» Частенько она подсаживается ко мне на жесткий облезлый трактирный диван и шепчет в самое ухо, до чего же все-таки замечательно быть невестой. Я редко когда затеваю с ней разговор, из вечной боязни брякнуть что-нибудь невпопад, вот и молчу, а ведь мне так хочется поговорить с нею. Однажды она приблизила душистое ушко к моим губам: не желаю ли я сказать ей словечко, которое можно только прошептать? Я трепеща пробормотал, что ничего такого не знаю, тогда она влепила мне пощечину и рассмеялась, но не весело, а холодно. Ее отношения с матерью и младшей сестрой оставляют желать лучшего, и она запрещает мне оказывать малышке внимание. У ее матери красный от пьянства нос, она небольшого роста, хлопотливая, любит подсесть за столик к мужчинам. Правда, моя невеста тоже подсаживается к мужчинам. Как-то раз она тихонько сообщила: «Я уже не девственница», сообщила непринужденным тоном, и я не нашелся что возразить. А, собственно, что я мог бы возразить?! При других-то девушках я гляжу орлом, даже каламбурить умудряюсь, а при ней сижу молча, и смотрю на нее, и ловлю каждое ее движение. Сижу я у них обычно до закрытия трактира, а то и дольше, пока она не отошлет меня домой. Стоит ей куда-нибудь отлучиться, как мать присаживается за мой столик и наговаривает мне на свою дочь. Я же только рукой машу да улыбаюсь. Мать ненавидит собственную дочь, и совершенно ясно, что ненависть у них обоюдная, поскольку одна стоит другой поперек дороги. Обоим хочется иметь мужа, и обе ревниво норовят обскакать одна другую. Когда я сижу вечерами на диване, трактирные завсегдатаи, глядя на меня, сразу понимают, что я — жених, и каждый полагает своим долгом сказать мне доброе слово, что для меня в общем-то безразлично. Младшая девочка — она еще ходит в школу — примащивается рядом со мной, читает свои учебники или выводит в тетради крупные, длинные буквы, а потом дает тетрадь мне, чтобы я просмотрел написанное. Раньше я никогда не обращал внимания на малышей, а тут вдруг увидел, как много интересного во всяком маленьком, подрастающем создании. И виной тому моя любовь к другой сестре. Искренняя любовь делает человека лучше и любознательнее. Зимой невеста говорит мне: «Знаешь, как чудесно будет весной гулять вдвоем по садовым тропинкам», а весной твердит совсем другое: «С тобой так скучно». Она хочет найти себе мужа в большом городе, потому что намерена еще кое-что получить от жизни. Театры и маскарады, нарядные костюмы, вино, веселая светская болтовня, радостно-возбужденные лица — это ей по душе, это приводит ее в восторг. Мне это в принципе тоже очень по душе, но как добиться такого, я не знаю. «Может быть, — сказал я ей, — следующей зимой я останусь без места!» Она взглянула на меня с удивлением и спросила: «Почему?» Ну что, что я должен был ей ответить? Не выкладывать же одним духом полный очерк своих природных задатков? Она бы презирала меня. Пока-то она считает, что я человек в меру трудолюбивый, правда немного чудаковатый и нудный, но тем не менее достигший определенного общественного положения. И если я скажу ей теперь: «Ты ошибаешься, положение у меня крайне шаткое», то для нее пропадет всякий резон впредь знаться со мною, ибо надежды,

которые она возлагает на меня, вмиг рухнут. Потому я и предпочитаю ничего не касаться, не дразнить, как говорится, гусей — тут уж я мастер. Возможно, будь я учитель танцев, или ресторатор, или режиссер, или занимайся я каким-нибудь другим ремеслом, связанным с увеселением публики, я был бы счастлив и преуспел, так как от природы я именно таков — веселый, смирный, учтивый и весьма впечатлительный, все бы мне приплясывать, порхать, выделявать ногами вензеля; да, человек подобного склада почел бы счастьем для себя быть танцором, директором театра или, скажем, портным. Я счастлив любой возможности сделать комплимент. Разве это не говорит о многом? Я отвечаю поклоны совершенно не к месту, уподобляясь порой лизоблюдам и дуракам, настолько я обожаю кланяться. Для серьезной мужской работы мне и смекалки недостает, и рассудка, и наметанного глаза, и чуткого уха, и склонности. На свете нет ничего более от меня далекого. Барыши — дело хорошее, но чтоб я ради них пальцем пошевелил? Нет уж, дудки! Обыкновенно лень в мужчине кажется несколько противоестественной, но мне она очень, очень к лицу — ни дать ни взять платье, хоть и неброское, а очень к лицу, пусть даже фасон плохонький; можно сказать: «Сидит прекрасно!» — почему бы и нет? — всякий же видит, что оно пришлось мне по фигуре. Вот уж лень так лень! Но довольно об этом. Между прочим, думается, руки у меня не доходят до работы из-за климата, из-за влажного озерного воздуха, и по этой причине я теперь подыскиваю должность на юге, где-нибудь в горах. Я мог бы управлять гостиницей, руководить фабрикой или возглавлять кассу небольшого банка. Лучезарный, привольный ландшафт непременно пробудит во мне дремавшие до той поры таланты. Торговля южными фруктами — тоже неплохое занятие. Во всяком случае, я из тех, кто полагает, что от внешней перемены произойдет благодатный переворот в их внутренней жизни. Иной климат обеспечит иное обеды меню, а, возможно, это и есть мое больное место. В самом деле — уж не болен ли я? Кругом у меня больные места, по сути, где ни коснись — все болит. Выходит, я неудачник? Или во мне таятся какие-то необычные дарования? Быть может, то, что я без конца извожу себя подобными вопросами, тоже своего рода болезнь? Так или иначе, это не вполне нормально. Сегодня я опять опоздал в банк на десять минут. Явиться вовремя, как другие, — выше моих сил. Вообще, мне бы надо пребывать на свете в полном одиночестве — только я, Хельблинг, и больше ни живой души. Ни солнца, ни цивилизации — один я, наг и бос, на вершине скалы, и нет ни бурь, ни крохотной волны, ни вод, ни ветра, ни дорог, ни банков, ни денег, ни времени, ни дыхания. Тогда бы я точно не боялся. Не боялся, и не задавал вопросов, и больше не опаздывал. Мог бы вообразить, будто лежу в постели, вечно лежу в постели. Вот было бы здорово!

Баста © Перевод Н. Федоровой

На свет я родился тогда-то, воспитывался там-то, чин чином ходил в школу, приобрел такую-то профессию, зовусь так-то и много не размышляю. Я — мужчина, для государства — добропорядочный гражданин, а по общественному положению — представитель привилегированных слоев. Я безупречный, тихий, спокойный член человеческого общества, так называемый добропорядочный гражданин, люблю не мудрствуя лукаво выпить стаканчик пива и много не размышляю. Каждому ясно, что я

понимаю толк в еде, равно как ясно и то, что всякие там идеи мне чужды. Напряженные размышления не моя стихия; идеи мне глубоко чужды, и потому я — добропорядочный гражданин, ибо добропорядочный гражданин много не размышляет. Добропорядочный гражданин ест свой обед — и баста!

Ум свой я напрягаю не слишком, пусть этим занимаются другие. Кто напрягает ум, вызывает ненависть; кто много размышляет, слывет человеком неприятным. Еще Юлий Цезарь указывал толстым пальцем на худого, с запавшими глазами Кассия, указывал неодобрительно, с опаской, потому что подозревал Кассия в идеях. Добропорядочный гражданин не должен внушать страха и подозрений; много размышлять ему не пристало. Кто много размышляет, вызывает антипатию, а это совершенно излишне. Лучше спать и похрапывать, чем сочинять и размышлять. На свет я родился тогда-то, ходил в школу там-то, порой читаю такую-то газету, профессия у меня такая-то, лет мне столько-то, гражданин я как будто бы добропорядочный и как будто бы понимаю толк в еде. Свой ум я напрягаю не слишком — пусть этим занимаются другие. Подолгу ломать себе голову — не мое дело, ведь кто много размышляет, у того болит голова, а это совершенно излишне. Лучше спать и похрапывать, чем ломать себе голову, и уж куда лучше не мудрствуя лукаво выпить стаканчик пива, чем сочинять и размышлять. Идеи мне глубоко чужды, и ломать себе голову я ни под каким видом не стану — пусть этим занимаются ведущие государственные деятели. На то я и добропорядочный гражданин, чтобы жить без забот и хлопот, чтобы не было у меня нужды напрягать свой ум, чтобы идеи оставались мне глубоко чужды и чтобы я неукоснительно робел долгих размышлений. От напряженных размышлений меня берет оторопь. Я лучше выпью добрый стаканчик пива, а что до всяких там напряженных размышлений, то пусть ими занимаются ведущие государственные руководители. По мне, политикам вольно размышлять сколь угодно напряженно, хоть до тех пор, пока у них голова не лопнет. Меня вот всегда оторопь берет от умственного напряжения, а это нехорошо, поэтому я стараюсь напрягать свой ум как можно меньше и преспокойно остаюсь беспечным и бездумным. Если одни лишь государственные деятели станут размышлять, пока их оторопь не возьмет и пока у них голова не лопнет, тогда все в порядке, и наш брат может спокойно, не мудрствуя лукаво пропустить стаканчик пива, вкусно поесть в свое удовольствие, а ночью сладко поспать и всхрапнуть, свято веря, что лучше спать да похрапывать, чем ломать себе голову, размышлять да сочинять. Кто напрягает свой ум, только вызывает ненависть, а кто обнаруживает замыслы и суждения, слывет человеком неприятным, но добропорядочному гражданину следует быть не неприятным, а приятным человеком. Я без малейшего душевного трепета отдаю напряженные и головоломные размышления на откуп ведущим государственным деятелям, ведь наш-то брат всего-навсего положительный, неприметный член человеческого общества и так называемый добропорядочный гражданин, или обыватель, который любит не мудрствуя лукаво выпить стаканчик пива и съесть обед, притом обильный, жирный, вкусный, — и баста!

Пусть политики размышляют, пока не сознаются, что их оторопь берет и голова лопается от боли. У добропорядочного гражданина голова болеть не должна, лучше уж пусть он

всегда не мудрствуя лукаво потягивает свой добрый стаканчик пива, а ночью спит и сладко похрапывает. Зовусь я так-то, на свет родился тогда-то, там-то, меня чин чином из-под палки гоняли в школу, читаю порой такую-то газету, профессия у меня такая-то, а лет мне столько-то, и я наотрез отказываюсь от долгих напряженных размышлений, ибо с удовольствием отдаю все это на откуп ведущим и руководящим умникам, которые чувствуют ответственность, — пусть их напрягают умы и ломают себе головы. Наш брат никакой ответственности не чувствует, потому что наш брат не мудрствуя лукаво пьет свой стаканчик пива и много не размышляет, предоставляя сие весьма своеобразное удовольствие умникам, обремененным ответственностью. Я там-то ходил в школу, где меня вынуждали напрягать ум, который я с той поры никогда больше особо не утруждал и не напрягал. На свет я родился тогда-то, ношу такое-то имя, ответственности не чувствую и в своем роде отнюдь не единствен. К счастью, таких, как я, довольно много, они не мудрствуя лукаво потягивают свой стаканчик пива, столь же мало размышляют и столь же мало любят ломать себе голову, как я, с радостью отдавая это занятие на откуп другим, к примеру государственным деятелям. Напряженные размышления отнюдь не моя стихия — мне, скромному члену человеческого общества, они глубоко чужды, и, к счастью, не одному мне, а легионам таких, кто понимает, как я, толк в еде и много не размышляет, кому столько-то лет, кто воспитывался там-то, является безупречным членом человеческого общества, как я, и добропорядочным гражданином, как я, и напряженные размышления им не нужны, как мне, — и баста!

Вюрцбург © Перевод Ю. Архипова

Во времена не вполне запоминаемые, лет тому назад уже несколько отправился я в один прекрасный летний день пешочком из Мюнхена в Вюрцбург. Непоседливый, глупый, несмышленный юнец, то бишь я, упорхнул вдаль серой птичкой. Теплынь, благодать. Не мир, а веселая замесь голубого, желтого и зеленого. Голубым было высокое, светлое, необъятное небо; зелеными — леса, по которым или мимо которых петлял мой путь, а желтыми — бескрайние поля спелой пшеницы, раскинувшиеся по обе стороны тракта. Была и еще одна прекрасная и неспразднозначительная краска — белая, потому что наперегонки с неутомимым путником и прилежным непоседой — землепашцем бежали, хоть и не по твердой земле, а по высокому прозрачному воздуху белые летние облака, как большие славные корабли по синему морю. Поскольку затяжное, годами длящееся безденежье вошло у меня в привычку, то скудная наличность моего кошелька вовсе не омрачала мое настроение. На ногах у меня было что-то вроде тапочек из парусины, в них-то я и маршировал по долам, легкий как ветер, вольный как беспечная мысль. Иногда мне казалось, будто ветер несет и гонит меня, точно перекаати-поле: так резво я поспешал.

В Мюнхене я свел знакомство с литературными знаменитостями; однако ж сходки литераторов и художников странным образом угнетали меня, я для них не годился. Судить да рядить, в чем тут дело, не берусь; помню только, что из всех салонов, где царят лоск и блеск, я диким вопрем рвался на волю, где воет ветер и гуляют простые слова, где работа и ругань, резкость и разбойничья удаль. Молод, горяч, я томился в благородном отстое просвещенного вкуса. Всякая безукоризненность, правильность, безупречная

элегантность манер внушала мне лишь безотчетный страх и тревогу. Боже правый, всемилостивый, всемогущий, как прекрасно летом бродить по горячей, широкой и тихой земле, как прекрасно испытывать при этом честный голод и жажду! Тихо, светло, куда ни глянь — мир без конца и края.

Что-то южное, итальянское было в моем походном наряде. Где-нибудь в Неаполе мой костюм, может, был бы уместен. Но в благоразумной и благонамеренной Германии он не внушал доверия, он отталкивал, коробил и раздражал. Экой щеголь и хват был я в свои двадцать три года!

Пусть же смелый карандаш гениально небрежными штрихами обрисует мой поход, а непринужденная, легкая, быстрая краска окажет ему помощь.

Верная память сохранила: скопище дюжих хозяйственных построек, разомлевших на солнцепеке; веселую гурьбу или ватагу странствующих буршей-ремесленников; зеленого, до зубов вооруженного, однако ж вежливого и вполне любезного жандарма, изучившего и проштемпелевавшего мои документы; бесконечную череду верстовых столбов, трактир близ тракта или манящую гостя гостиницу, где на дворе, в густой, благословенной тени деревьев я вкушал восхитительно аппетитную, нежно-золотистую отбивную по-венски; убегające вдаль клинья зеленого дола, одичалый, обветшавший, обвалившийся, покосившийся, потрескавшийся, одинокий домишко с живописнейшей, поэтичной кутерьмой беспорядка перед ним; нещадный полдневный зной; акациевую рощу подле затерянного в пустоши, отрешенного городишка; гордый замок, поместье, усадьбу или рыцарское гнездо с его властной осанкой на залитой ослепительным блеском, опаленной зноем земле; странный, причудливый, сумасшедший старинный город в вычурном вкусе семнадцатого столетия, по узким, тихим, зачарованным, сказочным улочкам которого, тонувшим в золоте трогательно прекрасной вечерней зари, я неспешно брел, как во сне, как по навевающим грусть останкам былой величавой мощи, как по живому доказательству бытия того, чего не бывает; бессчетные, похожие на пещеры, затхлые трактиры и харчевни, где в бокалах по стенкам сбегало густое, темное пиво; ощущение свежести, бодрости, когда потом снова выйдешь на улицу; лениво чернеющую реку, а там и снова город со всякой всячиной.

Вюрцбург — город такой, что стоит его посмотреть. Первое, что я сделал, когда наконец-то, храбро преодолев все тяготы и невзгоды, в него вступил, это отправился к парикмахеру, дабы исправно побриться, потому как нутром чувствовал, что накопились у меня причины обзавестись толикой элегантности. Во-вторых, я купил себе в приличном обувном магазине новые сапоги тонкой кожи, ибо обувь моя способна была вызвать только недоверие, презрение и подозрение. В-третьих, что-то меня влекло, гнало и манило основательно отобедать, вследствие чего я с поразительной дерзостью, с невозмутимой холодностью какого-нибудь атташе и с решимостью человека, замыслившего скорее умереть, чем отступить перед сложностями, трудностями и препятствиями, вошел в самый изысканный, самый дорогой ресторан.

Мое появление произвело там фурор.

«Эй вы, смельчак, да, да, именно вы, скажите на милость, что вам здесь угодно?»

С этими, прямо скажем, неласковыми и вызывающими речами наперерез атакующему пришельцу бросился безупречно элегантный господин в черном, по всей вероятности, сам управляющий; однако никакая мужественная или даже героическая оборона не могла уже спасти обреченную позицию или крепость. Противник был слишком силен.

Потому что противником этим был не кто иной, как я! Я сказал:

«Что мне здесь угодно, вы спрашиваете? Можно ли так долго и пространно задавать столь отвлеченные вопросы в том очевидном и не требующем даже маломальского знакомства с мировым устройством случае, когда речь идет о голоде, да, да, о самом обыкновенном голоде и о возможно скорейшем его утолении. Чего я хочу? Есть — и ничего больше! Как мне представляется, я вижу перед собой заведение, где имеют обыкновение вкушать пищу и тем самым взбадривать себя приличные бюргеры и знатные горожане. А поскольку я, как мне кажется, в высшей степени нуждаюсь в насыщении и во взбадривании, то я и вхожу, с вашего позволения, в сей ресторан, ибо не намерен еще сто лет размышлять на тему, подходит он мне или не подходит. Не извольте беспокоиться, сударь! Покорнейше прошу посторониться! С таким великолепным, могучим и поистине благородным аппетитом, коим я в настоящий момент располагаю, я, по моему убеждению и разумению, опирающемуся на скромный человеческий разум, имею право ступить и в самое изысканное и самое отличное заведение».

Так я проник внутрь, заняв место среди жующей элиты и прочей чавкающей знати. Кругом кишмя кишели гордые ястребиные носы и глаза, источавшие презрение сквозь стекла пенсне. Роскошный зал сиял холодной красотой. Я, обслуживаемый как граф, стал предметом всеобщего и отнюдь не восторженного внимания. Это явление самого бросового бродяги среди самых отборных избранников судьбы, среди сливок общества было великолепно. Я и теперь с удовольствием о нем вспоминаю, ибо юность неподражаема и только в юности у человека хватает упрямого задора на счастливое завершение веселых проделок. А веселые и отчаянные проделки юности составляют хоть и не самое лучшее, но и не самое худшее в нашей жизни.

Поскольку такой хвастливый расточительный образ жизни, при изрядно скудных и жалких средствах, жесточайшим порядком продырявливает карман, нанося плачевный изъян и ущерб общему благосостоянию, то наш храбрый испытатель действительности принужден был довольствоваться весьма унылым и отнюдь не безмятежным приютом в одной из самых захудалых ночлежек, которые когда-либо видел. О разных докуках, которые принялись донимать и занимать его ночью в этой ночлежке, когда он улегся в плохую, как камень жесткую кровать, о докуках, избравших для этой цели видимость маленьких, миленьких, хорошеньких, очаровательных посланниц многообразного животного царства, усердно оказывавших ему свое внимание, он предпочитает не

распространяться, придерживаясь похвального мнения о том, что обстоятельное описание и перечисление в сем случае довольно-таки неприлично.

Я вскочил с постели и подошел к открытому окну. Стояла ночь, и вместо сладостного сна, похищенного злокозненными, крохотными и изящными злоумышленниками, я сполна отведал и насладился видом прелестнейшей лунной ночи, которая, подобно лунной ночи у Эйхендорфа, проливала с небесных вершин осиянный поток неслыханной красоты, волшебного, нежного, неяркого очарования и божественной неги на темные крыши, на башни, на воздетые навстречу ему островерхие кровли. Тихо дрогнули струны эоловой арфы, и, о чудо, поистине неземной благостью наполнилась распростертая вокруг тишина ночи, эта светлая, детски наивная лунная тишина, этот глубокий и сладкий, как зелье, обморок полуночи, этот темно-светлый упокоенный морок луны, эта музыка соразмерности, равности, ревностности, эта соната радости — лунная соната! Разве не живет дивный опус Бетховена в любой лунной ночи? Разве не повелось с давних пор, что самые лучшие произведения искусства дают миру простота и повседневность? Не такая ли повседневность — луна, которая равно проливает свой свет что нищему, что вельможе?

Едва занялся день, я с понятной охотой покинул свой ночной приют и отправился вниз по улочке в город — на поиски Даутендея, с которым познакомился в Мюнхене и который жил теперь в Вюрцбурге.

Промыкавшись все утро в поисках жилья поэта, — я как нарочно, со столь же неумным, сколь и капризным упрямством, расспрашивал о нем самых случайных незнакомцев, тех, что с сонным видом торчали в низких окошках или слонялись по улице: приключенческий этот способ ничего не мог мне принести, кроме все нараставшего раздражения, — я его все же нашел. Он еще мирно почивал на кровати. А увидев меня, рассмеялся.

«На кого вы похожи!» — крикнул он зычным голосом, выбираясь из простыней, а потом, после самого тщательного одевания, обратился ко мне следующую умную речь, которую привожу дословно:

«Дорогой мой, ваш наряд чересчур авантюрен. Пойдите-ка, сейчас что-нибудь для вас подыщу, вам нужно немедленно переодеться, ибо в таких одеждах можно разгуливать только по Аркадии или другой какой-нибудь вымышленной стране, но здесь и теперь они неуместны. Вам следует лучше разобраться во времени, в которое вам даровано право жить. Пускаться можно во все тяжкие, но нельзя выпячивать наружу нутро со всеми его потрохами. Вы же любите демонстрировать публике свои фантазии и грезы. Это неумно. Взгляните! Вот вам костюм, в котором вы можете спокойно изживать наше время, не вызывая нападок. Зачем мозолить людям глаза, когда вам больше всего хочется быть незаметным. Наверняка вам бывает не по себе только тогда, когда на вас обращают внимание, а раз так — не обессудьте благосклонно принять соответствующие наставления.

Вы похожи на обитателя земли, существующей исключительно в вашем воображении. А куда разумнее походить на простого и пресного человека, на современника своих современников. Уверен, вы не станете обижаться на мои слова, но внемлете им, согласившись с тем, что я прав. Ведь вы известны как человек разумный, и только юношеское упрямство обрекает вас на чудаковатое ухарство. Но в том, чтобы выглядеть чудно, нет никакого смысла. Подобное желание выделиться насквозь ложно. Нашим девизом должно стать обратное — выделяться должны только способности. Мы обязаны поэтому связать себя многочисленными правилами, не оставив себе никаких или очень мало свобод. Итак, за дело! Долой ненужную личину нинакогонепохожести. Если есть у вас диковинные мысли и чувства, то этого вполне достаточно. Никто не должен замечать, как вы своеобразны и оригинальны, какая у вас фантазия и вкус к необычайному. Иначе вы станете жертвой насмешек и недоразумений, от чего будете сами страдать»

С этими словами или после этих слов он обернулся к своим одевальным богатствам, то бишь платьевым излишкам и запасам, и стал поочередно извлекать из комода и шкафа, вручая мне, пиджак, брюки, рубашку, жилет, шляпу, белый стоячий воротничок, к которому полагался набор изумительных шейных платков, галстуков, бабочек; я был вынужден надеть все это и таким образом превратиться в совсем другого, совершенно нового человека. Когда же это быстрое и преобразующее превращение свершилось, мой учитель, друг и любезный покровитель воскликнул: «Совсем другое дело — вполне приличный вид! А теперь пойдемте прогуляемся».

И мы в прекрасном расположении духа отправились на улицу, на которой, пользуясь прелестной улыбчивой погодой, совершала моцион многочисленная публика. В новой экипировке я казался себе принцем, я хочу сказать — чувствовал себя как новорожденный. Правда, высокий элегантный воротничок несколько теснил и тер мою шею, но с такой не слишком обременительной жертвой в пользу правил приличия и требований хорошего тона я охотно мирился, легко отказываясь от мизерных благ личных удобств и уюта. То был первый крахмальный воротничок в моей жизни. А так как поведение мое незамедлительно и покорно подчинилось тем красивым вещам, кои я удостоился надеть на себя, то со всех сторон посыпались на меня неглумливые и почтительные огляды и взоры, что уж никак не могло испортить мне настроения. Конечно, издали, а то и вблизи мою соломенную шляпу, вызывающую к памяти об увеселительных прогулках и отдыхе на лоне природы, можно было принять за головной убор крестьянина, рыскающего в поисках найма. Но Даутендей заверил, что это не должно меня беспокоить, ибо по мнению любого разумного человека именно эта деталь туалета украшает и выгодно оттеняет меня как ничто другое. Всякие опасения на сей счет лишены оснований, а сомнения настолько же неоправданны, насколько означенная шляпа прекрасно на мне сидит, ко всему подходит и со всем гармонирует.

Вскоре мы спустились в один из многочисленных в Вюрцбурге винных погребков, где отменно выпили и закусили. Хорошо было неспешно беседовать, сидя в темном и прохладном углу, где царили тишина и благоухания.

Восемь дней, не больше, но и не меньше, пробыл я под любезным покровительством моего друга в прекрасном городе Вюрцбурге, о котором вспоминаю с большим удовольствием. Жители Вюрцбурга показались мне людьми веселыми и в то же время прилежными, обходительными и вежливыми. Некоторые улицы просто великолепны, там и сям величавые виды, всюду оживленное движение, все утопает в дивных, прекрасно устроенных садах и парках, окутанных сетью завлекательных дорожек, по которым так хорошо бродить, где вольно дышится и легко думается под шепот листвы. Как-то мы с Даутендеем забрели в один загородный дом, живописно расположенный на покрытом виноградниками холме, где мне было дано узнать сердечных и образованных людей, сполна, от всей широкой души воспользовавшихся правами гостеприимства.

Среди прочего мы с ним посетили архиепископский дворец, где наряду со всевозможными прочими примечательными красотами могли насладиться созерцанием изумительных фресок Тьеполо.[12] Не спеша и со вниманием мы обошли все те удивительные залы, в которых некогда жили возлюбившие размах и роскошь владыки. Упоительная беззаботность трат соединялась здесь с отменнейшим вкусом, изящество — с неистощимым, на прихоти падким богатством. Сам дворец показался нам на удивление просторным, его необъятные размеры напоминали о поистине ужасающей, в сущности, неограниченности былой власти. Обширный, искусно разбитый придворный сад походил на сказку. Короли да князья умели производить королевское впечатление даже извне, а уж кому случалось ступить внутрь умопомрачающей роскоши, тот, ослепленный, раздавленный неслыханным великолепием власти, должен был сразу признать, сравнивая себя с их сиятельством, что он всего лишь бедный, слабый, безропотный подданный, обреченный самою судьбой на смиренное прозябание, на то, чтобы если не любить, то хотя бы покорно сносить жестокие обиды, лишения и унижения.

Восемь восхитительных летних дней миновали. Есть ли у меня еще деньги, осведомился Даутендей. «Нет», был мой ответ. Так он и думал, заметил Даутендей, понимая улыбаясь, и дал мне толику от своих на расходы. У него и самого было немного. С финансами у художников дело обстоит, как правило, не очень благополучно; сие прискорбное обстоятельство не мешает им, однако, легко, не задумываясь, по-братски делиться последним. Зато и берут они также без стеснения.

Ходил ли я на Майн купаться? Всенепременно! И при сем должно, конечно, упомянуть старый, величественный, украшенный статуями мост через Майн — одна из достопримечательностей Вюрцбурга. Сиживал ли я вечерами за бокалом вина или пива в городском саду под раскидистыми ветвями деревьев, с наслаждением внимая музыке Моцарта и других корифеев? Ах, как чудесна была череда этих благословенных теплых ночей, в одну из которых я так засиделся, что опоздал к закрытию отеля и ночевал под звездами на скамейке! Патрулировавший по ночному парку полицейский долго и пристально всматривался в постояльца сего отеля «У матушки-природы», видимо, он считал себя обязанным разобраться, кто тут устроил себе ночлег — опасный обществу злодей или честный, то есть полезный обществу человек. На другой день вид у меня был более чем сонный. В свете голубого ясного дня передо мной кружились какие-то

странные лица, образы, лики, среди них — огненная фигура шекспировского Ромео без головы. Моим сонным, а вернее сказать, бессонным глазам представлялась некая фантастическая страна, какой-то пылающий восток, а земля, по которой я твердо ходил или думал, что хожу, стала вдруг выскальзывать из-под ног, как во сне.

Вообще я стал слишком уж походить на бродягу и вора, а поскольку это было мне не по нраву, я начал потихоньку склоняться к тому, чтобы заменить такой рассеянный и ленивый образ жизни движением к какой-нибудь намеченной цели, и в соответствии с этим решил предложить господину ленивцу и графу, буде он всемилостивейше согласится на это и откажется от всяческих отговорок, вернуться на трудовую стезю.

Не я ли рассиживал под живописнейшими каштанами на залитом солнцем берегу реки, уплетая роскошные деревенские оладьи с аппетитным зеленым салатом? Я, конечно, я! А кто как не я предавался праздным беседам то с русской барышней, изучающей в Мюнхене изыски искусства, то с темнокожей и черноглазой американкой, то с настоящими, истинными, действительными, лорнеткой вооруженными статс-советницами? Не я ли, разморенный летним зноем гуляка и празднолобец, вписывал весьма длинный, пылкий, пламенный стих в альбом одной знатной даме? Нет сомнений, то был я! А почему бы и нет? И вообще — не играл ли я роль совершенно бесполезного, никчемного, пустого, безответственного и тем самым лишнего человека? Воистину так!

Я всерьез призадумался и решил уезжать, двигаться по миру дальше. При всем своем бродяжьем духе я испытывал неизъяснимую тоску по устойчивому и последовательному человеческому уделу, сколь бы он ни был тяжек. Меня чрезвычайно влекло к порядку и ежедневной работе, и ни о чем я так страстно не мечтал, как о том, чтобы найти себе узы постоянного долга.

«Вынужден просить вас, — сказал я Даутендею, когда мы под конец еще раз гуляли с ним по притихшим ночным улицам, думая каждый о своем, — вынужден просить вас дать мне еще двадцать марок, чтобы я завтра утром мог поехать в Берлин».

Он немедленно вынул деньги и дал мне. Призрачный фонарь освещал эту немую и странную сцену.

«Благодарю вас; судьба, видите ли, велит мне ехать! Смейтесь сколько хотите, это отнюдь не мешает мне чувствовать, что слова мои совершенно серьезны. Где-то, предполагаю я, совершается настоящая жизненная борьба, которая ждет меня, и поэтому я должен ее найти. Сонные чары, летний ленивый морок, неспешность нерешительной неги — все это я не могу выносить слишком долго, для этого я, по-видимому, не создан. Меня, напротив, захватывает чудесная, опасная мысль и счастливое убеждение в том, что я рожден проторить сквозь немилостивый мир свою дорогу и пройти по ней до тех пор, пока не откроется мне истовый труд и возвышенный смысл. Я вижу, вы улыбаетесь — потому, несомненно, что находите в моих словах избыток патетики. А я полагаю, что в жизни должен быть звонкий звук и высокое напряжение и что есть люди, которые не могут жить, не вдыхая воздух дерзания! Прощайте!

Я вбил себе в голову, что Берлин — тот город, который должен увидеть мой взлет или мое падение. Город, в котором правит суровый и злой гений жизненной борьбы, — вот что мне нужно. Такой город оживит меня, исцелит. Такой город протянет мне узы как милость. Такой город даст мне понять, что я не лишен добрых качеств. В Берлине, рано ли, поздно ли, но я к своему глубокому удовлетворению узнаю, чего хочет мир от меня и чего должен я сам хотеть от мира. Я это вижу и чувствую и теперь, но еще не совсем, без окончательной ясности. Там, в Берлине, падет пелена с моих глаз, там в один прекрасный день или вечер я пойму все с желаемой четкостью. Нужно действовать, то есть дерзать! В Берлине, посреди грохота и людского водоворота, посреди безостановочного снования большого города, посреди напряженных занятий и работы я обрету свой покой. Я уверен в том, что так оно и будет и что именно так и должно со мной быть».

Даутендей дружески увещевал меня, отговаривая от моего намерения, однако ж вопреки всем советам я наутро уже сидел в железнодорожном купе, устремляясь навстречу неизвестности.

Ах, как это здорово — принять решение и доверчиво шагнуть в неизведанность.

Удел поэта © Перевод Ю. Архипова

На основании некоторых разысканий, произвести которые мы сочли своим долгом, мы можем утверждать, что данный поэт образование получил весьма сомнительное, то есть скудное, а потому мы вправе задаваться вопросами типа:

Откуда же почерпнул он тот минимальный запас сведений и знаний, которым, по нашему разумению, любой поэт должен все-таки располагать?

Ответ гласит:

Существуют ведь в мире читальные залы, в которых всегда найдется достаточно пищи для ума. Некоторые из читален расположены к тому же на природе, так что усердный читатель, сидя у открытого окна, получает прекрасную пищу не только для ума, но и для ушей, и для глаз, за что и благодарен всевышнему.

И разве не предлагают нам свои услуги городские библиотеки, доступные любому юнцу и служащие его пользе?

Поэт, о котором идет у нас речь, рано проявил и доказал похвальную и пылкую жажду знаний, что, разумеется, само по себе является немалой заслугой.

По этой причине мы не очень-то склонны доверять достигшему ушей наших слуху, согласно которому занимающий нас герой будто бы мел и мыл какое-то время улицы, мы думаем, что поэзии и фантазии в этих слухах все-таки больше, чем действительной правды.

Зато означенный — безусловно, к вящей пользе своей — служил какие-то сроки в рекламном отделе одного крупного издательства, то есть мы хотим подчеркнуть, что в интересующей нас поэтической жизни упор был сделан на аккуратную и чистую работу пером, а не метлой.

Чуткое, грациозно и ловко по бумаге скользящее, изысканно изящные цифры и буквы выводящее, острое и нежное перо вообще играло руководящую роль в указанной жизни.

Махать молотом или рубить топором — эти упражнения исключались здесь почти полностью, а с гвоздями предмет или объект сих строк имел дело, по всей вероятности, лишь тогда, когда случалось ему прибить на стену в своей комнате какую-нибудь картинку, из какового обстоятельства мы смело выводим, что ни столярничать, ни плотничать ему в жизни не приходилось, о чем, однако, можно скорее пожалеть, нежели наоборот.

Мы и те, кто думает с нами сходно, держимся той, переходящей в убеждение точки зрения, что любая с усердием начатая и с твердой волей исполняемая работа возвышает того, кто ее совершает.

Так что какова — велика или мала — та роль, которую сыграли в жизни поэта экспедиционная контора или первоклассный банк, или тихая, уединенная юридическая консультация (адвокатура): размышлять об этом — значит предаваться вопросам второстепенным, и мы их пока опустим, откровенно зевая.

Как нам представляется, мы должны здесь заняться разбирательством внутренних, а не внешних обстоятельств, и больше уделить внимания необычному, а не поверхностному. Правда, по нашему мнению, внутреннее всегда связано с внешним, так что, к примеру, правительства вынуждены вести внутренними делами точно так же, как внешними, и наоборот.

Нас же вполне устраивает приятный факт нашего положения, позволяющего с несомненной и неустраимой определенностью констатировать, что тематант, или мишень нашего повествования, был занят по торговому ведомству и в этом качестве всегда преисполнен честного пыла и усердия неизменно обзаводиться преотличнейшими, самыми блестящими характеристиками и аттестациями.

Наряду с тем он, правда, очень рано стал заполнять узкие полоски бумаги стихами. В любую погоду, в любое время дня или года, в любых топлёных и нетоплёных комнатах, покоях, каморках он в полном самозабвении и с разной степенью удовлетворения хотя бы какое-то время, но предавался своим фантазиям.

Следует при этом заметить, что мы намерены воздержаться от каких-либо оценок поэта. Мы лишь излагаем то, что удалось нам узнать. С полной уверенностью можно лишь утверждать, что поэт был склонен к выходкам весьма необычным.

Почему?.. Гм!

Если правду говорили и еще говорят разнообразные приличные и милые люди, будто наш герой в свою юную, непоседливую пору, исправно служа помощником бухгалтера в некоем агентстве транспортного страхования, любил рисовать на промокашках, употребляемых в толстых фолиантах и торжественно важных конторских книгах, благородные, почтенные головы своих коллег и начальников, внося тем самым увесистый вклад в прелюбопытнейшее дрезденское собрание или в небезызвестную мюнхенскую пинакотеку, то это невинное, по сути, занятие следует признать развлечением довольно соблазнительным и занятым.

С другой стороны, подобные экзерсисы дают немного аналитического материала, они могут разве что послужить доказательством того, что наш несомненно безупречный молодой человек бывал, как видно, загружен своими обязанностями не в полную меру, о чем можно только искренне пожалеть.

Стало и продолжает становиться известным, что один из тех господ, чьи симпатичные визажи поэт изготавливал, как-то при случае сказал ему:

«Гм, батенька, да вы талант. Что бы вам в целях образовательного совершенствования не махнуть незамедлительно в Мюнхен? Здесь, видите ли, контора, то бишь место, мало способствующее продвижению в искусстве. Рисовальный дар, увы, обречен здесь на прозябание, и, как вы понимаете, дела, проделки или безделье будущего гения здесь могут оказаться неуместными».

Это насмешливо-сатирическое высказывание повлекло за собой, согласно свидетельским показаниям, следующее возражение:

«Я не в состоянии поверить в то, что, как вы утверждаете, я обладаю природным талантом художника. Необыкновенная склонность к письму и послушность руки заставляют меня скорее подозревать в себе писательскую жилку. Сердечно благодаря вас за наверняка искренний и глубоко прочувствованный и благой совет отправиться на завоевание блестящей будущей в Мюнхен, я позволю себе, однако, заметить, что, вероятно, с такой же, а может, и куда большей готовностью и радостью я поплыл, пошел или поехал бы не в Мюнхен, а, например, на Кавказ, где я мог бы надеяться на совершенно необычайные и небывалые приключения».

В выходном свидетельстве, выданном ему по случаю увольнения с должности помощника бухгалтера, содержатся, насколько нам известно, следующие многозначительные, насыщенные намеками смачные слова:

«Имярек обнаружил качества весьма делового, честного, прилежного, добросовестного и одаренного работника. Он оставляет службу как нельзя более своевременно и исключительно по собственному желанию. Его усовершенствования в области использования промокашек навсегда останутся в нашей памяти. Художественные успехи его столь восхитительны, что нам остается лишь сожалеть о скором с ним расставании. Лишь с тою целью, чтобы не дать пропасть и увянуть его редкому дару, мы были

вынуждены покорнейше просить его нас оставить. Свою столь же вежливую, сколь и настоятельную просьбу о том, чтобы он соблаговолил нас покинуть, мы сопровождали искренним пожеланием невозможного счастья в его предстоящей небеспроблемной карьере, а его решение проститься с нами было принято с таким удовлетворением, каковое невозможно выразить словами. Бухгалтерией он занимался так, как он, по нашим предположениям, должен был заниматься ею. Поведение его не вызывало никаких нареканий, кроме разве что самых незначительных и пустяковых».

На наш взгляд, жизнь поэта примечательна невероятно частым чередованием мест работы и жительства; охотно признаемся, однако, что чередование это встречает у нас известное понимание, потому как мы вынуждены одобрить его и согласиться с тем, что юная душа, чувствующая призвание к поэзии, нуждается в свободе и смене впечатлений.

То, что поэт при любых обстоятельствах должен стремиться к тому, чтобы освободиться, раскрыться, ясно нам как дважды два, ибо мы убеждены, что раскрыться в условиях несвободы невозможно. Помимо того, для нас никакой не секрет, что развитие человека не может полностью протекать вне ситуаций, которые выставляют этого последнего иной раз в невыгодном свете.

Итак, мы утверждаем, что должны с пониманием отнестись ко многому из того, что не совсем нам понятно.

На купеческой бирже труда герой настоящего трактата, как нам известно, среди соискателей рабочих мест был фигурой наиболее примелькавшейся. Его вид и, по-видимому, чудаковатые манеры постоянно вызывали там что-то вроде иронической улыбки.

«Правда ли, что вы пишете стихи?» — спрашивали, к примеру, его.

«Да, я почти верю в это», — отвечал он с добродушным и кротким смирением. Понятно, что такой осторожный, озирающийся ответ мог вызвать только улыбку, что сплошь и рядом происходило на самом деле.

Не раз удостаивался наш поэт приятной чести развлекать в качестве декламатора высокопоставленных дам, что он делал весьма успешно. Он так сноровисто и гладко исполнял свое и чужое, что вызывал если не восторг и удивление, то удовольствие и приятность.

Однако, стол его был скорее невзрачен и скуден, чем изобилен и пышен, скорее недостаточен, чем удовлетворителен.

И все же, по нашему разумению, этому, вообще-то плачевному и печальному факту нельзя придавать слишком много значения, поскольку всем довольно-таки безразлично, кормится ли некий поэт лишь колбасой да похлебкой или он поглощает содержимое целых меню. Лишь бы выходили в итоге хорошие стихи, это главное. А они выходят и

выпархивают, в чем мы непреклонно убеждены, при необременительной, простой и умеренной пище лучше, нежели при любой другой.

Поэт должен быть строен, чтобы производить впечатление одухотворенности. За версту должно быть по нему видно, что размышлению он отдает свое время, а утехам плоти — час. Упитанный поэт есть материализованная невозможность. Творить не означает полнеть, но — терпеть лишения и поститься. Никакая сила не заставит нас хоть на дюйм отступить от этого убеждения, и никому не удастся навязать нам касательно вышеизложенного иное мнение.

Впрочем, время от времени поэта, должно быть, приглашали на обед состоятельные и щедрые люди, что мы, правда, только предполагаем. Собрать соответствующие доказательства нам, несмотря на все наши усилия, так, к сожалению, и не удалось.

Единственное сведение, которое удалось нам раздобыть и которым мы теперь, по счастью, располагаем, состоит в том, что был он предельно воздержан в тратах и экономен, а кое в каком отношении, пожалуй, и скуповат.

Платил, тратил, расходовал он на удивление мало. Портным и врачам годами не давал заработать ни гроша.

Редкостный и вернейший друг пеших прогулок, он имел немало друзей и среди сапожников, на которых он взваливал нелегкую, но важную миссию спасать, восстанавливать дырявую и рваную обувь.

Что касается одежды, то он ходил большей частью в костюмах, которые ему дарили. Никаких неотложных причин наведываться к медикам у него не было, потому как здоровье его было в полном порядке, жаловаться было не на что, что, разумеется, было большим для него везеньем. Ведь сберегались и деньги и время. Врачи, конечно, были им недовольны. Тут стоит вспомнить, однако, старую мудрость, которая гласит, что на всех не угодишь, как ни старайся. Где-то или как-то ударяется об углы и самый безупречный человек.

Политические взгляды его мы оставим в покое; точно так же не станем задаваться вопросом и выяснять, прилежно ли посещал он церковь. Обыденное, естественное, полезное, нужное практически — вот что его занимало. В этом отношении он пошел, кажется, в своего отца.

«В ребенке продолжают потихонечку жить привычки отца с матерью» — то и дело слышим мы на каждом шагу, по всякому поводу. Школа и отчий дом оказывают на ребенка большое влияние. Что же до характерологических свойств обоих родителей... но не будем касаться таких запутанных материй.

От отца, во всяком случае, перешла к нему заметная доза иронии, неотступно следовавшая за ним по пятам, как собачка за своей хозяйкой или своим господином, что по-прежнему ластится и не отстаёт, даже если ее побили.

Если сведения наши верны, то он проработал однажды дней восемь в конторе одной электростанции. По истечении названного, необычно короткого срока господин директор пригласил его к себе в директорскую, где несколько холодно и, может быть, туманно, но в приличных выражениях и достойно объяснил, что на предприятиях, занимающих в индустриальной иерархии достаточно высокое, просто высокое или высочайшее положение, к сотрудникам предъявляются требования с таким же эпитетом, так что там не могут быть терпимы лица, о которых известно, во-первых, что они сочиняют стихи, и о которых поговаривают, во-вторых, что они якшаются с людьми, которых невозможно причислить к просто хорошему или лучшему классу.

Поэта действительно можно было увидеть в обществе нечистоплунном. В этом отношении он вел себя не всегда разумно, зато человечно.

Из учреждений и фирм, покровительством которых он в той или иной степени воспользовался, следует еще назвать: расположенную на пенистой, голубой речке Ааре пивоварню; причудливой архитектуры, в живописную местность вписанную сберкассу; фабрику швейных машинок, на которой держался он долго; а также чулочную мастерскую, где он существенно пополнил копилку своих познаний.

Таким образом, в этой неприметной, мы бы сказали, пролетарской жизни поэта речь по преимуществу идет о работе в различных конторах и канцеляриях, о нередкой смене мест, то есть о чем-то обыденном и повседневном, а в сущности, о двух вещах: о работе в конторе и о природе, о найме и об увольнении, о бродяжьем освоении вольготной природы и об освоении приклеенным задом канцелярского письмовождения за столами, именуемыми бюро; о свободе и плене, о раскованности и кандалах; о нужде, бережливости, хлопотах и о свободном, безудержном, дерзком разгуле, не знающем меры в дорогостоящих наслаждениях; о тяжелой и пресной работе и о легком, шаловливом, шалопутном, беззаботном и бестревожном, упоительном, упивающемся негой безделье; о строгом соблюдении долга и о беззаветной, то в алое, то в голубое, то в зеленое окрашенной страсти бродить, путешествовать и скитаться.

Из таких-то и подобных вещей сложилась почва, взрастившая поэта. Времена года, фантазия, любовь и музыка, город и деревня и живопись, мысли и чувства, жизнь и множась знания дали его поэзии пищу, в которой она нуждалась для своего процветания.

Так он и жил.

Что с ним случилось, что из него получилось в дальнейшем, мы не знаем. Других его следов мы пока не обнаружили. Удастся, может быть, в другой раз. Мы подумаем, что для этого можно сделать. Станем ждать, и буде появится какая-нибудь новость, мы немедля и с большим удовольствием сообщим о ней, если только к ней проявится достаточно доброжелательного интереса.

Жизнь художника © Перевод Ю. Архипова

В ранней молодости он как-то сидел на чердаке и рисовал всадника. Рисунок потом купил один любитель искусства за двадцать франков, при этом он, вероятно, полагал, что существенно поддержал юное дарование. Однако двадцать франков даже для неимущего молодого человека, собирающегося стать художником, являются вспоможением весьма скудным. Столь скарредное покровительство вряд ли располагает к непрерывным изъяснениям благодарности. Уместной здесь может быть только улыбка.

Мир был полон ухабов и терний, холодности и безучастности, а молодой человек терпел нужду. Манеры у него, по-видимому, рано созревшего, были мягки. В чертах лица и жестах угадывалось что-то глубокое и авантюрное, какая-то причудливая душа и мечтательный характер. Он был еще не обучен, ему предстояло медленно пробивать себе дорогу. Голову он держал, чуть склонив ее набок. В глазах таилась озабоченность всем тем щекотливо-дразнящим, что подстерегает юного мальчика с нежной душой. Нежная кожа чутко и сильно воспринимает то, что кожа грубая даже не замечает. Нежность была отличительной чертой нашего художника в начале его пути.

Где он только не побывал, храбро себя утверждая, и в какой только манере не писал маленькие ландшафты, зеленые косогоры в цветущих деревьях, дождь, снег и солнце, осень, лето, зиму, буйную, сумасшедшую, полную значительных замыслов весну, цветущую вишню в зеленой капели, крестьянский дом в полудневном зное, пенный ручей в утрюмах зарослей горной теснины, желтые, солнечные лопатки холмов (Вогезы), снова цветущий луг или васильковое поле в радостно росистом, счастливо переливчатом утреннем свете. В какой-то студии или школе он рисовал с натуры детские, женские и мужские тела. Натура, живопись слились для него в круг бесконечный. Учителя отмечали в нем усердие и талант. В ответ на его просьбу со стороны государства в виде однократного пособия воспоследовала скромная сумма, однако искусство — как взнесенная на умопомрачительную высоту скала, и тот, кто споспешествует карабкающемуся на нее художнику толикой денег или добрым советом, редко или вовсе не отдает себе отчет в том, насколько ничтожен его вклад в сравнении с теми трудностями, что громоздятся перед художником, перед его разумом и сердцем; а ведь сквозь них душа его обязана продрагаться. Смее утверждать, что люди, на коих капает регулярный денежный дождь с месячным или годовым интервалом, дождь, что и говорить, благодатный, не могут представить себе истинные размеры риска, заключенного в существовании свободного художника. Свобода и независимость предполагают истовость борьбы неустанной и жестокой.

Некоторый след кроткого страдания и благородной тонкой приверженности к покою, начинавший проступать на его лице, делал его красивым. Терпеливые люди, возможно, мужественнее мятежных. Похоже, что эти последние лишь пытаются заглушить свой страх.

Кочуя с этюдником по сентябрьским и октябрьским просторам, он ночевал где придется, в городах и деревнях, чей нестесненный и произвольный уют был особенно мил его сердцу. Приятель-художник сопровождал его. Оба запросто и налегке бродили по дорогам и

тропам, чуть подкрашенным кинovarью. Точно златом блещущий океан, простирался перед ними мир. Добродушное утро в белой накидке тумана было чудесно, а теплый полдень приветливо грел и ласкал в саду у харчевни. И как водится, вилась неспешная, согласная нить беседы с хозяином, хозяйкой или прислугой. Вечера выступали словно пышно одетые принцы с глазами, горящими золотой и несбыточной грезой. И все сливалось тогда в одну сладкозвучную мелодию. С темно-зеленых, раскинувшихся во все стороны пастбищ доносились ласковые позвякивания колокольчиков; милые, кроткие животные неспешно щипали траву в лучах неправдоподобно красивой и добродушной вечерней зари; людские тени несуетливо маячили на утомившихся, тихих дорогах; то тут, то там зарождались негромкие звуки народных песен, которым жадно внимали юные пилигримы. Затем наступал черед ночи с таинственным хаосом, с глубокой тьмой, луной, зависшей над пустынными урочищами, со звездами и покойными, мирными мыслями. Во тьме наши мысли становятся тихи, как спящие дети. Вот впереди, за ельником, забрезжил огонек; то харчевня, наши запоздалые путники крадутся к ней тихо, как тати. А утром они снова отправляются в горы, чтобы к вечеру вновь спуститься к какому-нибудь приветному очагу в живописной ложбине.

Мягконравие, кротость, но и сила, и пламень видны были в облике художника. То была спокойная сила самой природы. Примешавшаяся к ней задумчивость, этот налет немного страдания, не нарушала общего выражения сдержанной радости бытия. В городе, в котором он продолжал заниматься своим ремеслом, ему доводилось писать блеклые предместья с домишками в ноябрьском тумане, такая поэзия скорее мрачна и угрюма, чем блестяща, и серой печали в ней больше, чем светлой радости. Однако печаль может стать для художника такой же большой радостью, как и сама радость. Затем приступил он к наброскам в каком-то склизком овраге, который засыпала срезанная осенней лихорадкой серебристо-палевая листва, то была красота самой смерти, очарование распада. У него накопилась уже целая папка набросков. Как-то пришли к нему господин и дама и стали с большим интересом рассматривать все, что он создал.

Зимой он отправился в какую-то глухомань, куда еще не пролегла железная дорога, где вместо заборов каменные стены, там он должен был расписать танцевальный зал. Тамошняя зима его околдовала. Некий человек на проворных ногах, а именно его брат, однажды примчался, как вихрь, чтобы только взглянуть на его житье-бытье. Оба немедля устремились в январь и тут-то впервые в жизни узнали зиму — таинственную, благородную, милосердную. Изыщные холмы с изыщными деревьями на них были осторожно посыпаны младенчески нежным снегом. Невинность неги — как в самом сказочном сне. Всюду, куда ни глянь, царит очарование изыска, а над всем этим — голубое и теплое, как весной, небо; на каждой елочке, каждой веточке белеет припухлость, и такая же — на каждой крыше, а по белой рождественской и новогодней целине разбегаются в разные стороны желтовато-коричневые дороги. Зима словно забыла о суровой и строгой своей юдоли, любовно целуя и милюя то тепло, то холод. Там и сям разрывали белый саван влажные, теплые, нежные пучки зеленой травы, пламеневшей как взыскующее любви юное сердце. Младой блеск и пыл посреди зимней сумрачной

старости. Все так чисто, добросердечно, глубоко и сладостно. Разумеется, оба друга-брата предались своим фантазиям и грезам. А когда стемнело, мир предстал перед ними во всей своей могучей, серьезной и величественной красоте. Они завернули в тихую деревеньку; душа их была полна музыки и отважных планов.

Наступила весна. Что-то захватывающее понеслось по дорогам — в виде красок и звуков, запахов, дуновений. Небо то темнело, то прояснялось. Вечера и ночи сделались сказкой. Над землей раскинулся нежный купол. Женщины и дети смотрели на мир широко распахнутыми глазами. Рано поутру луг еще искрился холодной изморозью. Недалеко от города, в крестьянском доме, притулившемся к склону горы, художник снял скромно обставленную, но прелестную комнату. Вплотную к украшенному гардинами окошку подступали зеленые ели. В невысокой, уютной комнате было так тепло и так ладно. И так славно рисовать что-нибудь — седое утро, участок леса. Потом снова был снег, а затем все зацвело, и весь холм стоял в красном и белом убранстве, а маленькие домишки затопило половодьем цветенья. По ночам прекрасный и добрый месяц изливал голубой свет на охваченные нежным пожаром деревья.

Но вот художник уехал и заболел. Казалось, лишь чудо вырвало его из объятий беды. Бледная смерть только взглянула на него серьезными очами и прошествовала мимо на удивление спокойной походкой, — одинокая, не ведающая ни подруг, ни друзей, смерть его пощадила.

Кое-как оправившись, наш юный герой возвратился в горы. Бодро одолел отчаянный переход в Альпах, превозмог голод, жажду, усталость. Осень застала его в очаровательном городишке, вписавшемся в прелестное междухолмие, где он продолжал свое усердное совершенствование. Здесь возник у него этот мягкий и теплый виноградник на склоне горы, прозрачный и легкий по линиям и краскам, скорее придуманный или увиденный во сне, чем написанный с натуры, хотя и увитая лозой беседка, и хмурая полоска леса наверху были переданы верно. Потом — коричнево-бурая в вечеряющих сумерках поленница на фоне темно-зеленых елей. И задумчивый вечерний пейзаж за окном, окаймленным прозрачной и как призрак белеющей гардиной. И многое другое. Рука рисовальщика стала вдумчивее, осторожней. Но зрелость еще не пришла, и печать юношеского сомнения заметна еще на картинах. Художник борется с человеком в художнике, и это борьба за правое дело. Если человеку все же хочется оставаться человеком, хочется жить, то художник должен только работать, учиться и переучиваться. К тому же жизнь так бедна и сурова, а природа так богата, земля так прекрасна. Боль за искусство боролась с болью за человека. В забросе и небрежении оказывались то искусство, то человек и мужчина. В то время как художник гневно указывал мужчине на палитру и кисть и кричал: «Твори!» — тот возражал наседавшему художнику: «Как могу я творить, когда мне нечем жить и дышать?»

И вот этот человек, с молодых ногтей испытывавший нужду и опасности, знающий, что изнурительный спор, который он затеял, ему придется продолжать всю свою жизнь, что

спор этот не отстанет, не отлипнет от него, но будет следовать по пятам, как тень, однажды, будто возвращаясь из дальних странствий, попал в один дом.

Во всем поведении его сквозила решимость безусловного подчинения себя чему-то высокому. Так марширует отслуживший солдат, отменно проявивший себя на поле брани, — незлобливо, даже расслабленно, но спокойно и твердо. Кто выдержал испытание битвой, не станет важничать и задаваться. Озабоченность — вот лучшая одежда для молодого человека. Спокойно, без громких слов перенесенное душевное и физическое напряжение подобно благородству осеняет человека, оно сказывается в малейшем жесте. Повадки борца, без сомнения, прекраснее, чем манеры прожигателя жизни. Мужественность и тонкость его понравились хозяйке дома. Она полюбила его и не сумела от него это скрыть.

К заботам художника добавилась еще одна — любовь! За какой-то плакат он получает немного денег. Белокурую и погруженную в раздумья голову его венчает бедная, глупая, мягкая, мятая, потерявшая форму, чудная какая-то и смешная круглая шляпа, что-то вроде перекосившегося ржавого горшка, чудовищная шляпа, больше похожая на глубокую, с высокими бортами, фантастически уродливую и ужасную сковороду. Однако женщина находит шляпу и мужчину под ней трогательно красивыми. Какая благородная, тонкая женщина не считает красивого мужчину еще красивее оттого, что он беден и плохо одет!

Она то и дело приглашала его на обеды, восторженно радуясь тому, что может накормить его. Оказывать ему какое-нибудь мелкое благодеяние доставляло ей наслаждение. «Да, он нуждается, и все-таки кажется мне замечательнее всех на свете», — говорила она себе, и руки ее сами складывались словно для молитвы. Любовь к отдельному человеку пробуждает любовь к бесконечному. Любящие всегда набожны, и только счастливые знают, что у них есть небесный отец.

Художник был потрясен такой нежностью и состраданьем. Искусство ж тем временем, если можно так выразиться, морщило лоб в недовольную складку. Грозно подбоченясь, оно вопрошало: «А я?» В самом деле, способны ли выносить друг друга любовь и искусство? Разве что годы спустя, когда скиталец и борец превратился в богатого маэстро и необходимое развитие было совершено, подобный вопрос показался бы праздным и необходимое согласие было бы найдено.

Однако того, кто еще учился, искусство властно отрывало от женщины, которая его любила и которую он любил, отрывало для дальнейших усилий, постижений, дерзких поисков и свершений. Как художника нельзя уличать в бесчувственной сухости, когда он стряхивает с себя любовь во имя послушания законам, которым он призван служить, так и солдата нельзя обвинять в суровой жестокости и безжалостности за то лишь, что он исполняет предписанный ему долг!

В мае, когда все цвело и зеленело, наступило прощанье, походившее на величественную трагедию. Напрасно стенала женщина. Жалобы и жесты отчаяния, чувства, краски, слова низвергались здесь бурным потоком, как в потрясающем вихре оперы Моцарта или как

при закате солнца, когда светило, прежде чем проститься с возлюбленной землей, изливает на нее свою грандиозную нежность, покрывая всю ее жгучими, страстными прощальными поцелуями.

Говорят, голод не тетка, и те, кто так говорит, видимо, правы. Повседневная нужда не ведаёт церемоний. Добывая скудный и сырый хлеб свой насущный, многие люди сами знают, откуда дует ветер, в то время как дородные респектабельные господа многого в жизни не видят прямо перед глазами, потому что могут позволить себе эдакую невнимательность; удел, что и говорить, завидный. А кто беден и наг, сам собой, то есть инстинктивно водрит свои уши, того не нужно долго призывать быть начеку. Инстинкт самосохранения достигает этого без усилий; короче говоря, юный художник был пролетарием, и он снова покрепче взял в руки свою кисть и стал решительно продолжать свою работу, свое восхождение. «То, что зовут любовью, — говорил он себе, — вещь прекрасная, да не столь прекрасны неудача, падение, крах, им не возрадуешься. А значит, вперед! Извольте пошевеливаться, сударь. Предстоит немало потрудиться, дабы с божьего благословения достичь чего-нибудь в этом прекраснейшем мире. Так что покорнейше просим с чувствами погодить. Хладнокровие, натиск, энергия — сюда! И никаких с километр длиной промедлений! Будь прокляты мечты и колебания! За них еще никто не платил. Важничаньем тоже долго не проживешь. Итак, за работу, ибо только настоящая, всепоглощающая работа может дать новые силы и свежесть. Только работа и есть подлинная жизнь, только в ней истинная радость, наслаждение, жажда бытия. Нужно только иметь мужество прыгнуть в воду, которая кажется ледяной, от которой содрогаешься поначалу, но потом чувствуешь божественный восторг и усладу. А деньги, художник, хоть и презренны, но в меру, ибо на них, в конце концов, можно купить много прекрасных вещей. Не сомневаюсь теперь ни мгновения, что буду работать, как раб, как каторжник, однако впредь не потерплю, чтобы работа заслонила от меня все удовольствия мира, кои представляются мне вполне оправданными».

Таким-то образом он себя взбадривал, распалил, приводил в движение, воодушевлял, придавал себе бодрость, мужество и уверенность. Нужда сама незаметно сделалась его другом, вернее, подругой, которая, улюлюкая, властно подстегивала его хворостиной и гнала все вперед и вперед. Беря свой инструмент в руки и весь отдаваясь работе, он становился участником предприятия, в исходе которого был живо заинтересован, и продвижение подогревало его азарт. Отныне — творить — означало для него испытывать огромную радость, делать — получать удовольствие. Легкая окрыленность и жгучая жажда жизни овладели им и в нем поселились. И вскоре он научился ценить маленькие радости так, как они того заслуживали, ибо жизнь, в конечном счете, состоит из многочисленных малых важностей или значительных малостей. Он привык обращать внимание и присваивать себе то, что прежде совсем не ценил, чего не замечал. Презрение порождается недооценкой. Освоил он и некоторую элегантность, вовсе не мешавшую трудовой деятельности занятого человека. Стянув уздой свои чувства и приструнив воображение, он сумел немало продвинуться вперед, а решительно отбросив мысль о том, что он одинок и отвержен, он утратил лишь то, в чем ему не было пользы, зато приобрел

кое-какую приятность в виде твердой почвы под ногами, надежного положения среди людей и уверенности в себе. Мысль о том, что не нужно дичиться принятых у людей обыкновений, была гениальна и придала ему небывалые силы. Он понял, что выделяться — значит обнаруживать слабость. Вооруженный сей мудростью, он пришел к отважному заключению, что девушки слишком милы и красивы, чтобы стоило героически напрягать силы для воспитания в себе бесчувственности. В голубом и сверкающем мире он вдруг обнаружил тысячи открытых и тайных осчастливливающих, притких и сладостных маленьких утех, и ему в голову не могло прийти, будто в его любви к подобным открытиям может быть что-то зазорное или вовсе греховное. Все то, что зовут любовью, наполнилось для него светом, теплом, довольством; действительность стала благодеянием. Набросившись на соблазны повседневности, с головой окунувшись в так называемую обыденность, дабы в полной мере вкусить от нее, как это делали жизнелюбцы во все времена, он почувствовал себя человеком свободным, чему был искренне рад. Освобождение свое от всяческого воздержания он пережил как самое прекрасное мгновение в жизни, как нечто, сделавшее его человеком.

Он отправился в горы, где на какое-то время свил себе гнездо в крестьянской хижине. Вид заброшенной деревушки, словно одиноко парящей на большой высоте, был восхитителен. Чудо из чудес — когда по весне в горах вдруг выпадает сильный снег и сразу делает все вокруг фантастическим, нереальным.

Он написал там несколько сильных вещей, и среди них «Бёцингенберг», темноватый ландшафт Юры, лесистый горный склон в вечернем сумраке ранней весны, полотно мощное и прочувствованное.

Потом он снова окунулся в сутолоку больших городов, где поражал внимание трамвайных кондукторов своим отрешенным видом художника, неспешной походкой и горной шляпой.

Была написана парковая аллея местного замка. Большие желтые листья каштанов устилают землю, а другие листья, что еще висят на ветках, четко отражаются в луже. На всем печать величавого спокойствия. Можно сказать, что картина эта походила на лицо, в котором как в зеркале отражается душа несуетная и в то же время энергичная.

Было написано и окно со светлой гардиной и цветами на подоконнике, работа одухотворенная и своеобразная, вся словно светящаяся изнутри; краски точно живые, и впечатление такое, будто писала сама душа изображенных вещей или само впечатление, ими производимое, — тот повествовательный элемент, который вынуждает предполагать, что за изображением скрывается еще что-то значительное или что изображенный на картине предмет ведет совершенно самостоятельную и осмысленную жизнь, полную чувств и событий. Нарисованные вещи и на самом деле могут мечтать, тихо улыбаться, переговариваться или горевать.

В душе художника родилось причудливое романтическое существо, переносившее в живопись воспринятое от чтения, но также и от жизни. Темнеющих тонов полотна,

казалось, наилучшим образом отвечали его романтическому настрою. Уверенность линии и мазка отвечала убеждениям и настроениям зрелого человека. То, что он писал, было отмечено ладом и обаянием чего-то особенного, печатью серьезности и даже, можно сказать, глубокомыслия. Наряду с сильным отзвуком вопросительности и искания в его картинах чувствовалась, правда неназойливая, но внятная мелодия чувственности. Чуткая чувственность формировала их облик. Мечты, грезы, фантазии предстают на картине зелеными, золотыми, синими пятнами. Он писал, например, «погруженные в думы» ели в позе людей, задумавшихся о собственной жизни. Он предпочитал поэтов, целиком отдававшихся поэзии, то есть абсолютной красоте литературы, читал Жан-Поля, Бюхнера или Brentano, у которых не поучительность главное, а муки и радости самозабвенного творчества: то были натуры пусть и плутающие, но истинные и прекрасные, они были вовсе не беспорочны, да и никоим образом не стремились к этому, понимая, что это им недоступно. Подобное чтение стало глубокой потребностью для художника. Не следует козырять «литературностью» как неодобрительным и бранным словом. Это совершенно неверно, и свидетельствует лишь о духовном нездоровье, ограниченности или поверхностности. Есть множество людей, которые, по счастью, не могут игнорировать поэтов или написанное поэтами; напротив, такие люди находят естественное утешение в книгах, которые, как и всякое подлинное искусство, могут быть пережиты, как сама жизнь. Жизнь и искусство — как две волны, привольно плещущие рядом.

Быть романтиком, быть может, и означает всего-навсего поддаваться волшебству красоты мира и величия мира, любить видимое и видеть, наряду с ним, невидимое. В глубине души каждый художник убежден в тщете человеческой силы — ежели сопоставить ее с величием мира. Это вовсе не скудное, но щедрое чувство мягко и властно увлекло художника в серебряный поток бытия, в златую и смутную жизнь, во все эти сладкие боли и полные смысла радости, в это небо, в эту головокружительную бездну, во все исстрадавшиеся и изнежившиеся мысли, во все это хитросплетенное, сверкающее и ароматное чудо.

Помимо «Вечери» он написал еще битву рыцарей, женщину, выглядывающую из окна на узкую улочку, знатную даму, скрытую алым пологом от трубадура — испанца или итальянца, — исполняющего ей песню. Жить и писать стало значить для него почти одно и то же. Его картины жили так же, как он, а он — как они. Иной раз он воображал себя нищим или цыганом, странствующим с песней по мягко очерченной местности привольных, благословенных стран. Музыка была близка ему как что-то свое, родное; она грациозной задумчивой феей порхала по его полотнам. Время от времени его посещали нарядные барышни. Правда, вся мастерская его состояла из одной узкой комнатенки на задворках прачечной, на самой верхотуре, в голубом поднебесье, то есть на пятом этаже, где кроме него иногда останавливался загорелый парень, по виду странствующий актер или певец, и играл на маленькой арфе разные народные мелодии — глубокие, как сама жизнь, и неисчерпаемые, как море или как ларец сказочного владыки. Такая арфа как нельзя лучше выражает чувства и чаяния простого человека из народа. Жалоба, но также

радостно-согласное приятие всего неизменного — вот что может высказать названный инструмент.

Затем художник написал здесь еще светло-зеленый, мокрый, залитый дождем весенний ландшафт. Возлюбленная парочка направляется в чистенький и привлекательный лесок. Неподалеку круглое блюдце озера, синего как фарфор. Лебеди скользят по прозрачной воде; в воздухе олицетворениям и красоты и свободы парят ласточки, а вдали, у самой кромки нежных лесов, высится рыцарский замок. Небо блещет смутной радостью музыки, резонируя сладким отзвуком тоски по чему-то неизъяснимому.

Другая картина, созданная в этой комнате и в том же году, представляет собой саму эту комнату, то есть ее широкое окно с видом на веселые старинные крыши. Тонко и остро простреливают пространство телеграфные провода. Из смотрового окошка выглядывает любопытствующая голова, может, чердачный житель — бедный студент, пылко вожадеющий пиитической славы и женской ласки, так пылко, как на то, без сомнения, способен лишь он один или я не знаю кто. В доме напротив, в шикарно обставленных апартаментах, очевидно с большим размахом, предаются веселью пестрое общество. У раскрытого в теплый вечер окна услаждает улицу игрой на мандолине кудрявый парень. Над уютными крышами домов встает одетая весенней зеленью гора с елями, яблонями, буками, с небольшой и прелестной, узкой, круглой, на детское личико похожей лужайкой, на которой стоит или сидит крошечная, затейливая сельская или, скорее, горная хижина. И снова ласточки в мягком, струящемся воздухе. Почти слышно, как они режут его крыльями. На подоконнике в комнате художника кто захочет, может различить стакан с водой и фиалками, благоухание которых достигает нас, будто запах тоже нарисован на картине.

«Вид в Альпах» — так называется еще одна картина, дающая наглядное и очаровательное представление о красоте покрытых снегом вершин. Что-то сказочно-скрытое есть в этой скромной, но насыщенной картине, словно бродят по ней невидимые призраки. Героика снежных гор, чей мощный разворот и взлет при всей их грациозности так напоминает героические песни древних времен, острые и в то же время мягкие линии их вершин — все это выписано своеобразно и смело, с мощной выразительностью укрощенных средств и горячей любовью ко всему прекрасному. Посреди великолепного полотна возлежит под елями опять-таки, по всему видно, сомнительное создание, какой-то мечтательный шалопай и праздный бездельник, некто мсье лентяй. Был тут и тонкий намек на то, сколько сказочной красоты явлено в безмятежности природы и как мало обращает на нее внимания беспечный увалень на траве. Большой, должно быть, лодырь! Уж не поэт ли? Будем надеяться, что нет. Поистине, в этой картине есть отсвет значительного.

Зримые в ней и некоторых других вещах страсть и пыл жаркой души, духовное напряжение, необычайное благородство отделки, истинное вдохновение, то есть умение и сила, вовсе не просиживали в уютно-расслабленной позе перед ликом природы, благолепно созерцая и присваивая себе подобающие черты. Нет! Он набрасывался на красоту, где бы ни находил ее, как любовник на возлюбленную, глубоко и страстно

запечатлевал в душе ее облик, чтобы, придя домой, в темную, узкую свою каморку, извлечь ее трепетно сохраняемые черты из самых недр своего сердца и разума и с отвагой воина, не страшась опасностей, предаться воспроизведению виденного и пережитого. Он, как подобает истинному романтику, творил самозабвенно, и созданное им можно было назвать творениями. Только сильная и храбрая душа способна творить, отдаваясь вольному извержению душевной лавы.

Он поехал в столицу и в ней остался. Лишь хлопоты да заботы влекли его в город, в эти однообразные улицы — серые, длинные, голые, густо заселенные. Ему суждено было познать город и в его соблазнах и скуке, в увеселениях и задумчивой печали. Все его лучшие, сокровенные помыслы были отданы живописи. Всякого рода видения, нежные, томные грезы, но и благородная, крепкая, незамутненная любовь к миру сопровождали его, подобно верным друзьям, повсюду. Прекрасные, как рассветы и закаты, воспоминания окружали его. Художнические радости и страдания мешались с наслаждением женским очарованием, да и вообще со столичной жизнью. Женщины любили его за благородство, душевную тонкость и ту любовь к людям, которой он дышал. И, конечно, он умел одеваться. Внешняя элегантность соответствовала его уверенной повадке. Его жесты были плавны, красивы, несуетная значительность сразу бросалась в глаза. И неподдельная доброта тоже. Он разгуливал по свету как само воплощенное человеколюбие, так что малые дети, бывало, тянули к нему свои ручонки из колясок и улыбались, требуя ласки. Мысли, с которыми он бывал неразлучен, придавали ему этот мягкий, кроткий, внушающий доверие отцовско-материнский вид, да, так оно, вероятно, всегда и будет: мысли наши не дадут нам надуться, но тяжестью своей пригнут всякую надменную гордость. Только бедные мыслями люди способны задирать нос. Одет он был чаще всего во все черное, серьезное, как «мрачный Брентано»: замечание, впрочем, странное, ибо вовсе к этому случаю не подходящее. В художнике не было абсолютно ничего мрачного — напротив, он был само добродушие и сама покладистость. Женщинам он уделял столько времени и был так обходителен с ними, что они испытывали благодарность за его душевную щедрость и сердечное участие. Какой-нибудь простушке без рода и племени, без состояния, имени, положения он дарил часы искреннего восхищения и восторженного любования, так что в итоге и сам всегда был вознагражден сторицей. Что может осчастливить нас больше, чем то счастье, которое мы дарим другим? Можем ли мы, живущие на этой бедной, жалкой, битой-перебитой земле достичь большего блаженства, чем то, которое дает нам наша способность дарить блаженство другим? Что принесет нам большее удовлетворение, чем возможность удовлетворить наших близких?

Так он жил и любил. Свое нежное, кроткое горение, скрытую теплоту свою он проносил под полой по ярким, сверкающим после дождя улицам, которые вечерами бывают так красивы. На улицах по-детски прекрасной весны он видел небесно-невинную улыбку и спешил написать ее, эту полную неги улыбку с ее тоской и надеждой. Он видел на улицах бодрящую прохладу осени или снег. Видел, как сыплются пухлые хлопья снега на улицу и людей, и писал этот призрачный, сказочный снегопад. Видел продавщицу цветов,

цветочный магазин, другие витрины и писал то, что видел. Живопись — это тихое, безмолвное, упорное занятие, основанное на верности неустанной. Это мысли, текущие красками, ибо в живопись стекается все. Он видел ночи с фонарями на улицах — и писал эти ночи. Комната его немало могла бы порассказать об истовом смирении, стойком ожидании и терпении. Выносливость, твердость — два крутых, значительных, злых и в то же время добрых, милых, прекрасных слова. Вечерние красные фонари в мутно-зеленом листовном разливе он видел как пылающие глаза под кустистыми бровями. Он видел изящество старых дворцов и благородную, гордую меланхолию пришедших в запустение княжеских садов. Сам он походил на авантюриста — редко встречающийся тип, который любит производить как можно меньше шума, потому что вдохновляется не видимым бурлением, а самым потоком ощущений. Быть человеком — значит глядеть по сторонам, искать и не шуметь об этом. Он искал постоянно — и казался то бедняком, то богачом, то разочарованным, то удовлетворенным. Пред тем, кто глядел и искал, большой, высокой, призрачной и туманной фигурой маячило само приключение в длинной белой одежде и с разметанными ветром кудрями, а он спокойно и медленно брел за ним следом, чтобы увидеть и узнать, чего оно хочет и что сулит ему.

Среди другого прочего он написал портрет несчастливца, что, закутавшись в пальто, одиноко стоит на холодном, совершенно безнадежном, всем ветрам и всем немилосердным ударам судьбы выданном шаре — земном шаре, всеми покинутом и забытом. Стоя посреди этой жуткой пустыни, он скорбно пожимает плечами, отчего становится ясно, что он самым жалким образом продрог на своем мучительном и ужасном посту. Руки засунуты в карманы, голова низко склонилась, но вся поза его выражает твердое решение спокойно встретить любые неприятности, мужественно вынести все, что ни свалится на его голову.

К этому же времени относится портрет молодого человека на пустынной и притихшей полноточной улице, занесенной, как чудится, мягким снегом. На высоком, луной освещенном небосклоне видны звезды и облака; улица явно эlegantного столичного образца; молодой человек, задрав голову, смотрит на единственное освещенное окно в ряду других, пустых и темных. Там, внутри, в неизвестной комнате бодрствует и мечтает, может быть, некто, кто был бы способен понять, оценить его, стоящего здесь на улице и вглядывающегося в нежный, осиянный свет, сулящий надежду и утешение, веселящий и взбадривающий душу, ибо посреди этого большого и густонаселенного города он одинок и тоскует по свету, пониманию, братской теплоте и сердечности, по доверию, дружескому общению, — одним словом, по человеку.

Он любил вечера, когда свет, умирая, затухая, исчезая в темноте, бывает особенно красив. В красоте вечеров он находил себе что-то родное; их призрачный блеск, казалось, был к нему особенно благосклонен; чувство было такое, будто сумрак страдал и жаловался вместе с ним, испытывал ту же боль и ту же радость, был в какой-то странной зависимости от него. Ночи были как добрые, милые друзья.

Обыкновенно общество его составляли несколько веселых и бравых приятелей, молодых, неотесанных, добродушных, ни на что не претендовавших, кроме того, чтобы вносить в жизнь веселую сутолоку и остроумную кутерьму. Люди, глубоко прячущие свое сокровенное про себя, по всей вероятности, и есть лучшие товарищи. В этой бесшабашной среде художник чувствовал себя прекрасно. Один из молодых людей с большим пониманием и вкусом играл Шопена, музыку, шутливо мечущую бисер страстей и с божественной легкостью кокетливо порхающую над безднами. То веселая, то рыдающая, но всегда грациозная, игра подобных звуков была для художника как сладкий дурман.

С любовью и тонким пониманием относился он к предметам и вещцам старинного, минувших эпох обихода, к старым подсвечникам, столикам, шкафчикам, зеркалам, стульям, табакеркам, штофчикам, рамкам и прочим старым штуковинам. За такими вещами он охотился как азартный и умелый охотник и поэтому нередко захаживал в антикварные лавки с их живописным развалом, высматривая и выторговывая тот или иной заинтересовавший его раритет. Не проходило недели, чтобы в дверь художника не постучался чудаковатый старик с подобострастным: «К вашим услугам! К вашим услугам!» — вместо приветствия; он приносил в дом художника и тщательно раскладывал перед ним старинные гравюры и прочие более или менее примечательные листы. Со временем этот человек ради удобной краткости получил прозвище «Слуга».

Была написана картина «Лес». Над покойными, залитыми серебром вершинами елей сияет серьезный и какой-то странно озадаченный месяц. В небе полыхает мрачная, темно-алая, с желтыми разводами заря.

Затем был написан портрет поэта, сидящего в каком-то странноватом костюме на скале. Вокруг зеленеет лес. По чистенькой, юрко ускользающей куда-то вбок дороге удаляется парочка.

И еще одну картину следует назвать — «Сновидение»: ночь, мост, на котором странно мерцают газовые фонари. Еще одна ночь, вернее, вечер — на небольшом полотне, на котором изображена женщина в белом, стоящая на миниатюрном, так сказать, испанском балконе. На руках у нее собачка. Вплотную к балкону подступает отливающий зеленью в волшебной тьме вечера роскошный куст сирени. Ниспадающий косой свет выхватывает еще отливающие золотом высокие крыши современной улицы.

Будь упомянут и карандашный рисунок с названием «Больная». И еще один лист — «Прощание», где протянулись из бездонных глубин призрачные руки в прощальном жесте: будто потустороннее прощается с посюсторонним, одна непонятность и бесконечность — с другою.

Как-то раз художник прогуливался с одной красивой дамой за городской чертой. Внимательно взглянув на него, она спросила, благородного ли он происхождения. В лесу тихо накрапывал дождь. Как приятен такой дождь, как упоителен. Под перебой теплых капель сердца распускаются, точно бутоны. В ответ на вопрос, к нему обращенный, художник улыбнулся своей прелестной улыбкой. В нежной беседе такая милая,

осторожная улыбка может сказать больше, чем иные изысканные слова. «Да, конечно, вы человек благородный» — решила она, ответив тем самым на собственный вопрос. Они остановились у маленького круглого озера, в тихой серой воде которого отражалась окрестность, и поцеловались.

Впереди еще было немало треволнений и скуки... Он писал сам и получал письма. Продолжал прилежно трудиться. Украшал стены своей скромной каморки своими картинами, пока не заглянул к нему капризный бог Успех, то есть некий господин, который сказал немало лестных и приятных слов о его искусстве, взял за руку и вывел в большой мир. Успех следовал за успехом, признание наслаивалось на признание. Все было как во сне или дурмане. Став в один прекрасный день любимцем публики, он получил многочисленные и лестные заказы, открывавшие совершенно новые пути его искусству. Трудности, встречавшиеся на его пути, он преодолевал с большим напором. Вскоре он оказался в ослепительном обществе, в котором отличался спокойными манерами, умом и тактом. Всякий, кто впервые видел его, сразу чувствовал, что вот перед ним человек, не раз обнаруживший свое добросердечие. Пережитые суровые испытания лучше всего украшают человека, они прекрасны при любых обстоятельствах. Где бы он ни появлялся, — всюду, благодаря своей любезности, он играл заметную роль. Ему открылся блеск и элегантная суэта театра. Дело, пробудившее в душе его бодрые силы, делало его счастливым.

Прогулка © Перевод С. Шлапоберской

Однажды утром захотелось мне совершить прогулку. Я надел шляпу, выбежал из своего рабочего, или магического, кабинета и слетел вниз по лестнице, чтобы поскорей очутиться на улице. В подъезде я столкнулся с женщиной, которая походила на испанку, перуанку или креолку и выставляла напоказ эдакое увядшее величие.

Сколько помню, выйдя на просторную, светлую улицу, я пребывал в романтически-авантюрном настроении и оттого чувствовал себя счастливым. В свете утра мир, раскинувшийся передо мной, казался мне таким прекрасным, будто я вижу его впервые. Все, что я видел, радовало меня своей приветливостью, добротой и юной свежестью. Быстро забыл я о том, что только сейчас уныло сидел наверху у себя в комнате и корпел над чистым листом бумаги. Печаль, скорбь и всякие тяжелые мысли словно растаяли, хотя я еще живо чувствовал впереди и позади себя веяние чего-то сурового.

С радостной готовностью ждал я всего, что может попасться или встретиться мне на пути. Шаг мой был спокойным и размеренным. Идя своей дорогой, я, по моему разумению, имел вид человека довольно-таки гордого. Свои чувства я люблю от людей прятать, не впадая при этом в излишнюю суетливость, что считал бы ошибкой.

Не успел я пройти и двадцати шагов по широкой людной площади, как мне сразу же встретился профессор Майли, интеллект первого ранга.

Господин Майли шествовал как непререкаемый авторитет, сосредоточенно, торжественно и величаво. В руке он держал негнущуюся ученую палку, внушавшую мне страх, почтительность и благоговение. Нос у Майли острый и строгий, властный и твердый, будто ястребиный или орлиный клюв. Рот был плотно, юридически сжат. Поступь знаменитого ученого напоминала неумолимый закон. Из суровых глаз профессора Майли, скрытых под кустистыми бровями, на вас взирала всемирная история и отблески давно минувших героических деяний. Его шляпа выглядела как несвергаемый властитель. Однако в общем господин Майли держался вполне мягко, будто ему отнюдь не требовалось демонстрировать окружающим, сколь великий вес и могущество он воплощает. У меня были основания полагать, что люди, не встречающие вас сладкой улыбкой, все же могут быть честными и порядочными, поэтому профессор Майли, несмотря на всю свою неумолимость, казался мне симпатичным. Известно ведь, что на свете существует немало людей, прекрасно умеющих прикрывать свои бесчинства покоряюще-обходительными манерами.

Чувствую близость книжного магазина и книготорговца, а вскоре, как я примечаю и догадываюсь, золотыми буквами возвестит о себе булочная. Но прежде мне следовало бы упомянуть священника. С радостным выражением лица мимо гуляющего победно-велосипедно катит городской фармацевт, он же штабной или полковой врач. Не должен остаться незамеченным и некий скромный прохожий — разбогатевший старьевщик и тряпичник. Достоин внимания, как ребяташки — мальчишки и девчонки — вольно и бесшабашно резвятся под ласковым солнцем.

«Пусть их пока что резвятся на воле, ведь годы, к несчастью, довольно скоро охладят их и обуздают», — размышлял я.

У фонтана лакает воду собака, в голубом небе щебечут ласточки. Бросаются в глаза одна-две дамы в ошеломляюще коротких юбочках и поразительно высоких и узких, изящных, элегантных, мягких и разноцветных ботиночках, но они ничуть не более броски, чем все остальное. Потом я замечаю две летние соломенные шляпы. Вот какова история с мужскими соломенными шляпами: в прозрачном утреннем свете я вдруг вижу две восхитительные шляпы, осеняющие двух мужчин из самых что ни на есть порядочных. Уверенно, изящно, учтиво приподнимая эти шляпы, они, по-видимому, намереваются пожелать друг другу доброго утра, а это затея такого рода, что шляпы оказываются куда важнее, нежели их носители и владельцы. Однако хотелось бы покорнейше просить нашего автора слегка воздержаться от острот и прочих излишеств. Будем надеяться, что он это усвоил, раз и навсегда.

Коль скоро мое внимание привлек великолепный книжный магазин, казавшийся весьма заманчивым, и мне захотелось на минутку в него заглянуть, то я без колебаний туда вошел, держась наикорректнейшим образом, правда, я полагал, что меня примут скорее за строгого ревизора, инспектора, собирателя книжных новинок, знатока-библиофила, нежели за желанного и долгожданного богатого покупателя или надежного клиента.

Вежливым и предельно вкрадчивым тоном, в выражениях, понятно, самых изысканных, я осведомился о том, что у них имеется нового и хорошего из области художественной литературы.

— Нельзя ли мне будет, — робко спросил я, — посмотреть и по достоинству оценить книги наиболее удачные, серьезные, в то же время, разумеется, и наиболее популярные, а также сразу признанные и охотно раскупаемые. Я буду вам обязан превеликой благодарностью, если вы окажете мне такую любезность и сообразоволяете показать книгу, которая завоевала и рьяно продолжает завоевывать, — об этом никто не может знать лучше вас, — наивысшую благосклонность читающей публики, равно как и нагоняющей страх, а потому всячески ласкаемой критики.

Мне в самом деле не терпится узнать, какое из хранящихся или выставленных у вас творений пера окажется именно той еще не ведомой мне замечательной книгой, один вид которой, вероятно, заставит меня безотлагательно, с восторгом и радостью ее приобрести. Меня до мозга костей пронизывает желание увидеть перед собой избранного просвещенным миром писателя и его шедевр, вызвавший всеобщее восхищение и бурные рукоплескания, и, как уже говорилось, я, наверное, даже пожелал бы эту книгу купить.

Смею ли я самым вежливым и настоятельным образом вас просить показать мне такую прославленную книгу, дабы овладевшая мною жажда была утолена и перестала бы меня мучить?

— С большим удовольствием, — ответил книготорговец.

Как стрела исчез он из поля моего зрения, с тем, однако, чтобы буквально через секунду вернуться к алчущему покупателю с книгой поистине непреходящего значения, пользующейся наивысшим спросом и наиболее читаемой. Он так бережно и торжественно нес этот ценный духовный продукт, будто в руках у него была священная реликвия. Лицо у него было восторженное и излучало предельное благоговение. С улыбкой, какая бывает только у людей, искренне увлеченных, и с самой подкупающей манерой он положил передо мной эту спешно принесенную вещь. Я пристально посмотрел на книгу и спросил:

— Можете ли вы поклясться, что это самая популярная книга года?

— Несомненно.

— Можете ли вы утверждать, что это именно та книга, которую абсолютно необходимо прочесть?

— Безусловно.

— Это и в самом деле хорошая книга?

— Совершенно излишний, весьма неуместный вопрос!

— Тогда я сердечно вас благодарю, — хладнокровно произнес я и, предпочтя оставить книгу, несомненно получившую широчайшее признание, поскольку каждому необходимо было ее прочесть, преспокойно лежать там, где она лежала, без дальних слов, то есть совершенно безмолвно, удалился.

— Темный, невежественный человек! — крикнул мне вслед продавец со вполне обоснованной досадой.

Предоставив ему говорить что хочет, я безмятежно направился дальше, а именно — это я сейчас внятно объясню и растолкую, — в близлежащее солидное банковское заведение.

Я полагал, что должен туда заглянуть, чтобы получить достоверные сведения о некоторых ценных бумагах. «Забежать по пути в финансовое учреждение, — внушал я себе, — чтобы поговорить о денежных делах и задать вопросы, которые произносятся только шепотом, это вполне пристойно и без сомнения производит самое благоприятное впечатление».

— Очень хорошо и необыкновенно удачно, что вы пришли к нам сами, — приветливым тоном сказал мне ответственный служащий в соответствующем окошке. С чуть лукавой, во всяком случае очень любезной улыбкой он прибавил: — Мы как раз собирались послать вам письмо, чтобы сообщить чрезвычайно отрадную для вас новость, — теперь мы сделаем это устно: по поручению союза или кружка явно расположенных к вам добросердечных и человеколюбивых женщин, мы не столько обременили, сколько напротив — это будет вам конечно гораздо приятней, — наилучшим образом вас кредитовали одной тысячей франков и будьте добры немедленно взять это на заметку, просто запомнив или где-либо записав, — как сочтете для себя удобным. Это открытие придется вам по сердцу, ибо, по правде говоря, вы производите такое впечатление, что нам — уж мы возьмем на себя смелость сказать — становится совершенно очевидно: вы, по всей вероятности, прямо-таки срочно нуждаетесь в попечении деликатнейшего свойства.

Деньги с сегодняшнего дня находятся в вашем распоряжении.

Ваше лицо в эту минуту заметно расплывается от удовольствия. Глаза сияют. Ваши губы, которые, наверно, давно уже не растягивались в улыбке, потому что этому препятствовали докучные повседневные заботы, а следовательно — плохое настроение и всевозможные мрачные мысли, — сейчас явно складываются в улыбку. Ваш доселе нахмуренный лоб выглядит вполне ясным.

Так или иначе, вы можете потирать руки и радоваться, что некие благородные и любезные благотворительницы, движимые высокой мыслью о том, что облегчать нужду — это прекрасно, а утишать скорбь — хорошо, пожелали поддержать бедного незадачливого писателя.

Можно поздравить вас с тем, что нашлись люди, пожелавшие снизойти до вас и вспомнившие о вашем существовании, а равно и с тем, что, к счастью, встречаются еще и

такие, что не способны равнодушно пройти мимо неоднократно и явно обойденного славой автора.

— Денежную сумму, неожиданно преподнесенную мне добрыми женскими руками, я чуть было не сказал «руками фей», я спокойно оставлю лежать в вашем банке, где она, разумеется, будет в наилучшей сохранности, поскольку вы располагаете несгораемыми и невскрываемыми шкафами, в которых сокровища, по-видимому, тщательно оберегаются от какого бы то ни было вида уничтожения или порчи. К тому же вы платите проценты, верно? Могу ли я покорнейше просить вас выдать мне квитанцию в получении вами этих денег?

Как я себе представляю, я смогу совершенно беспрепятственно, во всякое время, по своему усмотрению снимать с этой большой суммы малые.

Я бережлив, а потому сумею распорядиться этим даром как солидный целеустремленный человек. Любезным дарительницам я хочу выразить подобающую благодарность в учтивом и рассудительном письме, каковое я намерен написать завтра же утром, не откладывая, чтобы не забыть.

Догадка о том, что я беден, которую вы давеча высказали пусть и осторожно, но все же откровенно, основана на верном и очень тонком наблюдении. Однако достаточно того, что я знаю, что знаю, и что я сам всечасно наилучшим образом осведомлен о своей персоне. Видимость часто обманчива, и судить о каком-либо человеке лучше всего удастся ему самому, ибо человека, много чего испытывавшего, наверняка никто не может знать лучше, чем он сам.

Временами я действительно блуждал в тумане, среди тысячи препятствий, спотыкаясь и чувствуя себя подло покинутым. Но я полагаю, что бороться — это как раз хорошо. Не радостями и удовольствиями должен гордиться честный человек. Напротив, в глубине души он может радоваться и испытывать гордость только от того, что мужественно выстоял трудности, терпеливо перенес лишения. Но не к чему об этом распространяться.

Где вы найдете человека, который ни разу в жизни не чувствовал себя беспомощным? У какого человеческого существа с течением времени остались нисколько не разрушенными его надежды, планы, мечты? Была ли когда-нибудь на свете такая душа, которой ни на йоту не пришлось бы отступить от своих смелых замыслов, от высоких и сладостных представлений о счастье?

Квитанция на тысячу франков была выписана и вручена нашему солидному вкладчику и владельцу текущего счета, после чего он почел за благо распрощаться и уйти.

От души радуясь капиталу, который будто по волшебству свалился мне прямо с неба, я выбежал из высокого кассового зала на вольный воздух, чтобы продолжить свою прогулку.

Поскольку в настоящую минуту ничего нового и умного мне в голову не приходит, то, надеюсь, я вправе сообщить, что в кармане у меня лежало приглашение, где меня покорнейше просили ровно в половине первого пожаловать к фрау Эби на скромный обед. Я твердо решил последовать сему достоуважаемому приглашению и точно в назначенное время явиться к упомянутой особе.

Раз уж ты, любезный читатель, взял на себя труд добросовестно шагать в это светлое, славное утро бок о бок с сочиняющим и пишущим эти строки, не торопливо и не суетливо, а скорее потихоньку-полегоньку, деловито, рассудительно, плавно и спокойно, то вот мы с тобой и дошли до уже упоминавшейся булочной с хвастливой золотой надписью, перед которой оба мы в ужасе остановились, ибо не могли не почувствовать себя глубоко опечаленными и искренне изумленными этим грубым хвастовством и теснейше с ним связанным искажением прелестного ландшафта.

Я невольно воскликнул: «Право же, нельзя не возмутиться при виде таких варварских золотых вывесок, накладывающих на окружающую сельскую простоту отпечаток корысти, алчности, плачевного огрубления души. Неужели какому-то пекарю так уж необходимо выступать с подобной пышностью, столь по-дурацки возвещать о себе, сияя и сверкая на солнце, точно дама-щеголиха сомнительной репутации? Месил бы себе и выпекал свой хлеб с честной, разумной скромностью. Насколько же мы утратили здравый смысл, если местная управа, соседи, власти и общественное мнение не только терпят, а, к несчастью, и явно поощряют тех, кто оскорбляет всякое чувство благообразия, чувство красоты и порядочности, кто болезненно раздувается, полагая, будто непременно должен придать себе смехотворную, никчемную, дешевую важность, швыряя на сто метров ввысь, в небесную лазурь, крикливую похвальбу: «Вот я каков! У меня столько-то денег и я могу себе позволить, чтобы моя вывеска резала глаза прохожим. Пусть я с этой моей безобразной пышностью настоящий олух, болван, безвкусный тип. Но ведь никто не может мне запретить быть болваном».

Разве эти светящиеся издалека, мерзко кичливые золотые буквы имеют хоть мало-мальски объяснимое, достойно обоснованное отношение к... хлебу или какую-либо родственную с ним связь? Ничего подобного.

Однако это хвастовство, это важничанье где-то взяли свое начало и, подобно губительному паводку, все набирали и набирали силу, подхватывая и неся с собой глупость и грязь. Увлеч этот поток и добропорядочного пекаря, чтобы испортить его доселе хороший вкус, подорвать его прирожденное благонравие. Я бы наверное отдал свою левую ногу или левую руку, если бы подобной жертвой мог вернуть и восстановить былое тонкое чувство благопристойности, былую добрую, благородную неприхотливость, возвратить стране и людям ту скромность и честность, которые, к великому сожалению всякого благомыслящего человека, понемногу явно сходят на нет.

Черт бы побрал эту подлую жажду казаться выше, чем ты есть, ибо это поистине катастрофа. Это свойство и ему подобные сеют на земле опасность войны, смерть,

бедствия, ненависть, клевету и надевают на все сущее маску анафемской злобы и гнусного эгоизма. Незачем, по-моему, какому-нибудь мастеровому строить из себя мсье, а простой женщине изображать мадам. Однако ныне все желают блистать, ослеплять новехонькими туалетами, изысканными и красивыми, фешенебельными и сверхэлегантными, желают быть мадам и мсье до такой степени, что это просто срам. И все-таки еще может наступить время, когда все опять переменится. Хотелось бы на это надеяться.

Что касается барских замашек и великосветского кривлянья, то тут я, между прочим, вскоре попадусь и сам. Каким образом — будет видно. Было бы весьма некрасиво, если бы других я немилосердно критиковал, а с самим собой обходился бы как нельзя более бережно и деликатно. Злоупотреблять писательством, по-моему, не следует — вот принцип, который вправе вызвать всеобщее одобрение, горячую похвалу и живейшее удовлетворение.

Переполненный рабочими литейный завод слева от проселочной дороги производит оглушительный грохот. Столкнувшись с этим, я испытываю прямо-таки стыд от того, что прогуливаюсь просто так, в то время как другие люди трудятся в поте лица. Правда, сам я тружусь и надрываюсь в такой час, когда все эти трудолюбивые рабочие в свою очередь свободны и отдыхают.

Мимоходом меня окликает один монтер: «Сдается мне, что ты опять гуляешь в разгар рабочего дня?» Я смеясь приветствую его и радостно подтверждаю, что он прав.

Нисколько не сердясь на то, что меня поймали с поличным, — сердиться было бы крайне глупо, — я весело шагаю дальше.

В светло-желтом англазированном костюме, полученном мною в подарок, я казался себе, в чем признаюсь откровенно, чуть ли не лордом, грансеньором, маркизом, расхаживающим по аллеям парка, хотя на самом деле я прогуливался по проселочной дороге в полусельской-полупригородной местности — равнинной, приятной, скромной, ничем не примечательной местности бедняков, а вовсе не в парке, как только что осмелился намекнуть; этот намек я тихонько беру назад, поскольку всякое сходство с парком просто взято с потолка и здесь совершенно неуместно.

Среди зелени там и сям виднелись небольшие заводы, фабрики, механические мастерские. Тучное, цветущее сельское хозяйство здесь словно бы дружески протягивало руку стучащей, грохочущей индустрии, в которой всегда есть что-то тощее, изнуренное, а ореховые, вишневые и сливовые деревья придавали гладкой, слегка закруглявшейся дороге нечто привлекательное, интересное и живописное.

Поперек дороги, которая и сама по себе показалась мне красивой и сразу же полюбилась, лежала собака. Я вообще мгновенно и горячо полюбил большую часть того, что увидел позднее, одно за другим. А вот и вторая очаровательная сцена с собакой.

Огромный, но безобидный, забавный и шаловливый пес спокойно глядел на крошечного мальчонку, сидевшего на ступеньках крыльца, и, заметив, что этот хоть и необыкновенно добродушный, однако, разумеется, страшноватый на вид зверь не сводит с него глаз, ребенок в испуге разревелся.

Эта сцена показалась мне восхитительной. Следующее детское выступление в маленьком будничном или придорожном театре я нашел еще прелестней и восхитительней.

В довольно густой уличной пыли, будто в саду, копошились двое ребятишек. Один из них сказал другому: «Ты должен меня нежно поцеловать». Второй ребенок послушался. Тогда первый ему объявил: «Хорошо. Теперь можешь встать». А ведь без этого нежного поцелуя первый мальчик скорее всего не разрешил бы второму того, на что он смилостивился теперь.

«Как эта наивная сцена гармонирует с голубым небом, что так божественно прекрасно и улыбочиво взирает с высоты на светлую, веселую землю» воскликнул я и произнес затем нижеследующую короткую, но серьезную речь:

«Дети — небесные существа, ибо они всегда пребывают словно бы на небесах. Когда они становятся старше, небо от них улетает. Тогда из детскости вылупляются сухие, скучные, расчетливые существа с утилитарными и благоприличными воззрениями взрослых. Детям бедняков проселочная дорога летом заменяет комнату для игр. Где же им еще быть, если сады от них своекорыстно закрыты? Горе проезжающим здесь автомобилям, которые равнодушно и злобно вторгаются в детскую игру, в детские небеса, подвергают эти малые, невинные человеческие существа опасности быть раздавленными. Отгоню-ка я лучше от себя страшную мысль, что эдакая дурацкая триумфальная колесница и впрямь может переехать какого-нибудь ребенка, иначе гнев заставит меня употребить грубые выражения, которыми, как известно, ничего не добьешься».

На людей, сидящих в мчащемся автомобиле, я всегда смотрю суровым взглядом. Это наводит их на мысль, что я — назначенный высоким начальством зоркий беспощадный наблюдатель, полицейский в штатском, следящий за тем, как ездят, записывающий номера машин с тем, чтобы потом донести куда следует. Мрачно гляжу я на колеса, на весь автомобиль, но никогда не обращаю внимания на тех, кто в нем сидит и кого я, конечно отнюдь не персонально, но чисто принципиально, презираю, ибо совершенно не могу понять, что за удовольствие проноситься мимо творений и предметов, коими обильна наша прекрасная Земля, с такою скоростью, будто бы ты обезумел и вынужден бежать, чтобы не впасть в отчаяние.

Я в самом деле люблю все спокойное и покоящееся, люблю бережливость и умеренность, а всякая спешка и гонка мне глубоко претит. Больше того, что я сказал, и что, видит бог, истинно, мне говорить незачем, а от слов, только что мною произнесенных, ни назойливый треск автомобилей, ни скверный, отравляющий воздух запах, от которого никому нет ни пользы, ни радости, несомненно сразу не прекратятся. Что касается этого сомнительного благоухания, то было бы противоестественно, ежели бы чей-то нос вдыхал

его с удовольствием, но это навряд ли возможно. Вот и все, и не сочтите мои слова за обиду, а теперь продолжим прогулку. Ходить пешком упоительно-прекрасно, издревле полезно и естественно, только при этом надо помнить, что башмаки или сапоги должны быть в полном порядке.

Дозволят ли мне высокочтимые господа читатели и доброжелатели, коль скоро они благосклонно принимают и извиняют этот мой торжественный, важно шествующий стиль, подобающим образом обратить их внимание на две особенно значительные фигуры, личности или персоны, и сперва или лучше, во-первых, на предположительно бывшую актрису, а во-вторых, на юную и, по-видимому, начинающую певицу?

Этих двоих я считаю лицами как нельзя более важными, и потому счел своим долгом, прежде чем они действительно выступят и покажут себя, надлежащим образом о них предупредить, дабы этим нежным созданиям предшествовала репутация особ значительных и знаменитых и при своем появлении они были бы встречены и приняты со всем почтением и заботливой любовью, какими, на мой малопросвещенный взгляд, чуть ли не в обязательном порядке следует отличать подобных людей.

Затем, с половины первого автор, как уже известно, в награду за множество перенесенных им мучений, будет роскошествовать, есть и пить в палаццо, сиречь в доме фрау Эби. До этого ему, впрочем, предстоит одолеть еще изрядные отрезки пути, а также написать изрядное количество строк. Однако достаточно хорошо известно, что он столь же охотно гуляет, сколь и пишет, последнее, правда, он делает капельку менее охотно, чем первое.

У самой дороги возле красивого и замечательно опрятного дома сидела на скамейке женщина, и, едва ее заметив, я возымел дерзость с нею заговорить. Употребляя наивежливейшие обороты, я произнес нижеследующее:

— Простите совершенно незнакомому вам человеку, что при виде вас ему просится на язык неотвязный и конечно же смелый вопрос, не были ли вы прежде актрисой? Дело в том, что выглядите вы точь-в-точь как некогда прославленная, великая драматическая артистка. Разумеется, вы справедливо удивляетесь такому ошеломляюще рискованному, дерзкому обращению. Но у вас такое красивое лицо, такая приятная и, хотелось бы добавить, интересная внешность, такая статная фигура, вы смотрите и на меня, и на весь божий свет так прямо, гордо, спокойно, что я никак не мог заставить себя пройти мимо, не отважившись сказать вам что-нибудь лестное, на что, надеюсь, вы не обидитесь, хоть я и опасаюсь, что за свое легкомыслие заслуживаю если не наказания, то все-таки порицания.

Когда я вас увидел, меня сразу же осенило, что вы, по-видимому, бывшая актриса, а теперь вот вы сидите здесь, возле этой обыкновенной проселочной дороги, перед маленькой хорошенькой лавкой, будучи, как мне сдается, ее владелицей.

Возможно, что до нынешнего дня с вами еще никто так бесцеремонно не заговаривал. Ваша привлекательная внешность, то, что вы красивы, приветливо-спокойны и в пожилом возрасте сохраняете бодрость, изящную фигуру и благородную осанку, — все это дало

мне смелость завести с вами разговор прямо на улице. Да и прекрасный нынешний день с его веселым привольем так осчастливил меня, зажег во мне такое радостное чувство, что я, быть может, слишком много себе позволил по отношению к незнакомой даме.

Вы улыбаетесь! Стало быть, вы нисколько не сердитесь на меня за мою непринужденную речь. На мой взгляд, это прекрасно, когда два человека, в сущности совсем друг друга не знающие, порой свободно и доверительно беседуют между собой, ведь для того нам, обитателям этой блуждающей планеты, которая остается для нас загадкой, в конце концов, и даны рот, язык и способность говорить — последняя и сама по себе уже неповторимо прекрасна.

Так или иначе, вы сразу же пришли мне по сердцу. Может ли столь откровенное признание дать вам повод на меня рассердиться?

— Скорее оно должно меня радовать, — весело заявила эта красивая женщина, — но что касается вашего предположения, то мне придется вас разочаровать. Актрисой я никогда не была.

На это я ей отвечал:

— Некоторое время тому назад я прибыл сюда из недоброго, неблагоприятного окружения, без всякой надежды, без веры, с больной душой, ни на кого не полагаясь. Я был отчужден от людей, враждебен миру и самому себе. Недоверие и боязливость сопровождали каждый мой шаг. Но раз за разом у меня рассеивалось печальное, некрасивое предубеждение, порожденное предельной стесненностью, мне снова стало легче, спокойней, вольнее дышать, постепенно я опять сделался более участливым, красивым, счастливым человеком. Я увидел, что многие мои опасения несостоятельны; чувство безнадежности и неуверенность во всем, которые я словно влачил за собой, понемногу претворялись в радостное удовлетворение и в живое, приятное сочувствие, которое я научился испытывать вновь. Я был словно мертвый, теперь же я чувствую себя так, будто меня подняли, вознесли или будто я только что восстал из гроба и ожил. Там, где, по моему мнению, я должен был узнать много безобразного, тревожного, жестокого, я встречаю обаяние и доброту и нахожу все, что только можно вообразить себе спокойного, утешительного, возвышающего и доброго.

— Тем лучше, — ответила женщина дружелюбным тоном и с таким же выражением лица.

Мне показалось, что настало время окончить этот довольно смело начатый разговор и удалиться, поэтому я простился с женщиной, и сделал это, позволю себе сказать, с изысканной и весьма обстоятельной вежливостью, отвесив ей почтительный поклон, после чего мирно зашагал дальше, будто решительно ничего не произошло.

Робкий вопрос: может ли нарядный шляпный магазин, приютившийся среди зелени, ни с того ни с сего вызвать к себе необычайный интерес, а возможно даже кое-какие скромные аплодисменты?

Я твердо в это верю, а потому осмелюсь сообщить, что, продвигаясь вперед по прекраснейшей из всех дорог, я вдруг испустил мальчишески-дикий ликующий крик, на какой моя глотка едва ли могла считать себя способной.

Что же я открыл такого нового и неслыханного? Ах, да решительно ничего, кроме уже упомянутого мною премилого шляпного магазина и салона мод.

Париж и Петербург, Бухарест и Милан, Лондон и Берлин, — все, что только есть элегантного, беспутного и столичного, подступило ко мне, вынырнуло передо мной, чтобы поразить меня, ослепить и очаровать. Однако большим городам и столицам недостает нежной, ласкающей глаз зелени деревьев, благодатности и волшебства приветливых лугов, красы прелестной пышной листвы и не в последнюю очередь аромата цветов, а все это у меня здесь было.

«Все это я обрисую, — твердо решил я, — и вставлю затем в какую-либо пьесу или некоего рода фантазию, которую озаглавлю «Прогулка». В частности, я ни за что не пропущу этот магазин дамских шляп, ибо в этом случае мое произведение лишится поистине значительной доли своей привлекательности».

Перья, ленты, искусственные цветы и ягоды на хорошеньких забавных шляпках были для меня почти настолько же притягательны, как сама родная природа, которая своей зеленью и прочими теплыми красками приятно обрамляла искусственные краски и порождения фантазии, будто шляпный магазин был не чем иным, как очаровательным произведением живописи. Здесь я рассчитываю на тончайшее читательское понимание. Я откровенно и постоянно боюсь читателей любого рода. Это жалкое признание в трусости кажется мне вполне понятным. Ведь и с другими, более смелыми авторами происходило то же самое.

Боже! Какую милую, восхитительную мясную лавку заметил я опять-таки под сенью листвы, а в лавке — розово-красный мясной товар: свинину, говядину и телятину. Внутри лавки виден мясник, он занимается с покупателями. Разве эта лавка мясника не заслуживает по меньшей мере такого же ликующего возгласа, как шляпный магазин?

Бакалейную лавку достаточно бегло упомянуть.

Всевозможных харчевен я, как мне кажется, еще успею коснуться. Что до трактиров, то чем позже в них заглянешь, тем лучше, вытекающие отсюда последствия, к сожалению, достаточно хорошо известны каждому. Самый добродетельный человек не станет оспаривать, что ему не удастся до конца преодолеть в себе известные пороки. Но при всем том, к счастью, ты — человек, а значит, тебя невероятно легко извинить, ведь каждый ужасно просто ссылается на природную слабость своего организма.

Здесь мне придется снова переориентироваться.

Осмелюсь предварительно заметить, что перестройка и перегруппировка удаются мне ничуть не хуже, чем какому-нибудь генерал-фельдмаршалу, который принимает во

внимание все обстоятельства и включает в схему своего, да будет мне позволено сказать, гениального расчета все случайности и промахи.

О подобных вещах человек внимательный в наше время ежедневно читает в газетах. Без сомнения он отмечает такие великолепные выражения, как «удар с фланга», и т. п.

Смею ли я признаться в том, что в последнее время пришел к убеждению: военное искусство, по-видимому, такое же трудное и требующее терпения, как искусство поэтическое, и наоборот?

Писатели, подобно генералам, нередко проводят длительную подготовку, прежде чем решатся перейти в наступление и дать бой, другими словами, прежде чем отважатся выбросить на книжный рынок книгу, произведение искусства или просто какую-либо поделку, что иногда вызывает мощные и яростные контратаки. Известное дело: книги зачастую влекут за собой дискуссии по их поводу, исход которых бывает настолько жестоким и безжалостным, что самой книге приходится немедленно сгнуться, меж тем как ее жалкий, злосчастный, никчемный сочинитель горестно замыкается в себе и несомненно впадает в отчаяние.

Пусть никого не обескуражит, если я скажу, что все эти, надеюсь, изящные фразы, буквы и строчки я вывожу пером имперского суда. Отсюда краткость, отточенность и острота, наверно ощутимая в некоторых местах, чему впредь никто не должен удивляться.

Но когда же я наконец доберусь до заслуженного мною пиршества у моей дорогой фрау Эби? Боюсь, это произойдет далеко не так скоро, потому что надо устранить еще некоторые довольно-таки значительные препятствия. А уж аппетит у меня давно разыгрался вовсю.

Покамест я с видом не самого отпетого бродяги и не столь уж великого бездельника и праздношатающегося шел по дороге мимо приветливых огородов, обильных сочными овощами, мимо цветов, источающих ароматы, мимо плодовых деревьев и кустиков фасоли, усыпанных стручками, мимо великолепных высоких хлебов — ржи, овса и пшеницы, мимо дровяного склада, полного дров и стружек, мимо ярко-зеленой травы и мирно плещущей воды — ручья или реки, — словом, тихо и благонамеренно шел мимо всякого рода людей и вещей, как-то: симпатичных рыночных торговцев, приветливого, расцвеченного яркими флагами дома какого-то общества, а также мимо других славных, полезных явлений, — мимо необыкновенно красивой волшебной яблоньки и бог его знает мимо скольких еще разнообразных предметов, например, мимо цветов земляники, да что там цветов — я церемонно шествовал мимо уже спелых красных ягод, а в голове моей тем временем теснились всякие мысли, потому что на прогулке человека сами собой осеняют и озаряют разные идеи, вспышки мысли, — потом их надо тщательно обработать. И вот покамест я таким манером шел, навстречу мне попался один человек, чудовище и нелюдь, почти совершенно затмивший для меня белый свет, пренеприятнейший долговязый тип, которого я слишком хорошо знал, парень весьма странный, — одним словом, великан Томцак.

Я бы мог ожидать его в каком угодно месте, на любой другой дороге, но только не на этом милом, славном проселке. Его плачевный, ужасающий вид нагнал на меня страх, а трагическое чудовищное существование сразу заслонило от меня всю прекрасную, светлую перспективу, отняло веселье и радость.

Томцак! Не правда ли, любезный читатель, уже самое это имя отзывается чем-то страшным и печальным?

— Зачем ты меня преследуешь, зачем тебе понадобилось встретить меня здесь, посреди этой дороги? — крикнул я ему.

Но Томцак мне не ответил. Он величественно, то есть сверху вниз, взглянул на меня. Ростом — или длиной — он превосходил меня намного: рядом с ним я казался себе карликом или маленьким ребенком, жалким и слабым. Этот великан с величайшей легкостью мог бы меня раздавить или растоптать.

Ах, я знал, кто он! Покоя он не ведал. Не спал в мягкой постели, не жил в благоустроенном, уютном доме. Томцак обитал везде и нигде. У него не было родины, а потому не было и прав уроженца. Он жил начисто лишенный счастья, любви, отечества и радости общения с людьми.

Он ни к чему не проявлял участия, потому никто не проявлял участия и к нему, к его жизни и поведению. Прошлое, настоящее и будущее было для него безжизненной пустыней, а жизнь, по-видимому, слишком ничтожной, слишком тесной. Ничто не имело для него значения, но и сам он тоже ни для кого значения не имел. Его глаза мерцали тоской подземных и надземных миров, и каждое его усталое, вялое движение выражало неопишемую скорбь.

Он был не мертвый и не живой, не старый и не молодой. Мне казалось, будто ему сто тысяч лет, и еще казалось, будто он должен жить вечно, чтобы вечно оставаться неживым. Каждую минуту он умирал, но умереть так и не мог.

Нигде не будет у него могильного холма с цветами. Уступив ему дорогу, я пробормотал про себя: «Будь здоров и пусть тебе все-таки живется хорошо, друг Томцак».

Не оглядываясь на этот фантом, на этого достойного жалости сверхчеловека, это несчастное привидение, к чему у меня поистине не могло быть ни малейшей охоты, я двинулся дальше и, обвеваемый теплым ласковым воздухом, стараясь превозмочь мрачное впечатление, какое произвела на меня гигантская чужеродная фигура, вскоре вступил в ельник, где вилась прямо-таки улыбчивая, лукаво-приветливая дорожка, по которой я с удовольствием и последовал.

Дорога и лесная почва походили на ковер. Здесь, в чаще леса, было тихо, как в душе счастливого человека, как в храме, заколдованном замке или уснувшем сказочном дворце, замке Спящей Красавицы, где все спит и молчит сотни долгих лет. Я входил все глубже в

лес, и может быть, я выражусь слишком красиво, если скажу, что казался себе золотоволосым принцем в бранных доспехах.

В лесу было так торжественно, что впечатлительный путник невольно оказывался во власти заманчивых фантазий. Каким счастливым чувствовал я себя в дивной лесной тиши!

Время от времени в эту отрешенность и милый, чарующий мрак проникал издали легкий шум, какой-то стук, свист или еще какой-нибудь неясный звук, дальнее эхо которого только усиливало господствующее безмолвие, и я впивал его с истинной отрадой, буквально пил и захлебывался от наслаждения.

Среди всего этого молчания там и сям из прелестного священного укрытия раздавался веселый голосок какой-нибудь пичуги. Я стоял и слушал. Меня внезапно охватило несказанное ощущение гармонии мироздания и рожденное им, неудержимо рвущееся из радостной души чувство благодарности. Ели вокруг стояли словно колонны, ни малейший шорох не нарушал тишины большого ласкового леса, казалось, его пронизывают, перекликаясь, всевозможные неслышные голоса и сквозь него проносятся всевозможные зримо-незримые образы. Моего слуха достигали неведь откуда взявшиеся звуки предсуществования.

«Вот также и я с готовностью умру, коли так суждено. Одно воспоминание будет жить меня и после смерти и одна радость делать счастливым даже в могиле, и слова благодарности за эту радость, и упоение этими словами».

Высоко вверх, в самых макушках елей послышался тихий шелест. «Любить и целовать в этом лесу наверно божественно прекрасно», — подумал я. Даже просто ступать по этой почве становилось наслаждением. Тишина возжигала в чувствительной душе молитвы. «Как сладостно, должно быть, лежать неприметно похороненным в этой прохладной лесной земле. Чтобы и после смерти ощущать покой и наслаждаться им! Хорошо бы найти себе могилу в лесу. Быть может, я бы слышал над собой пение птиц и шелест деревьев. Мне бы этого хотелось». Лучи солнца отвесно падали между стволами дубов, образуя сияющий столб, и весь лес казался мне уютной зеленой могилой. Но вскоре я снова вернулся в жизнь и вышел на светлый простор.

Теперь бы самое время появиться очаровательному, уютному ресторанчику с чудесным садом, дарующим живительную прохладу. Пусть бы сад располагался на живописном холме, откуда открывалась бы вся окрестность, а рядом с ним высился бы или стоял еще один, насыпной холм или круглая площадка для обозрения, где можно было бы подолгу стоять и любоваться великолепным видом. стакан пива или вина тоже не повредил бы. Однако человек, гуляющий в этих местах, вовремя спохватывается, что он ведь вовсе не совершает трудного перехода. Горы, изнуряющие путника, рисуются вдалеке, в голубоватом мареве, окутанные белой дымкой. Он честно признается себе в том, что жажда у него не такая уж томительная и мучительная, поскольку до сих пор ему приходилось преодолевать не такие уж изнурительные расстояния. Речь ведь идет скорее о неторопливой, спокойной прогулке, нежели о путешествии или странствии, скорее о

приятном променаде, нежели о стремительной скачке или марше. Поэтому он столь же справедливо, сколь и терпеливо отказался посетить это увеселительно-усладительное заведение и двинулся дальше.

Все серьезные люди, читающие эти строки, несомненно, горячо одобряют его прекрасное решение и добрую волю. Но разве я еще час назад не воспользовался случаем, чтобы объявить о молодой певице? Теперь она предстанет перед вами.

И не где-либо, а в окне первого этажа.

Дело в том, что когда я, сделав крюк через лес, выбрался опять на большую дорогу, то услышал... Но стоп! Маленькая почтительная пауза.

Писатели, хоть сколько-нибудь смыслящие в своей профессии, воспримут ее с полнейшим спокойствием. Время от времени они с охотой откладывают перо. Беспрерывное писание утомляет, как земляные работы.

Из того окна в первом этаже я услышал расчудесные, превеселые народные и оперные мелодии, и они совершенно безвозмездно лились в мои изумленные уши, как утренняя музыкальная услада, как предобеденный концерт.

У окошка невзрачного пригородного домика стояла юная девушка в светлом платье, почти еще школьница, хотя уже высокая и стройная, и прелестно пела, пела просто так, приветствуя светлый день.

Приятно пораженный этим неожиданным пением, я остановился в сторонке, как для того, чтобы не помешать певице, так и для того, чтобы не лишиться возможности слушать, а соответственно и наслаждаться.

Песня, которую пела девушка, производила впечатление как нельзя более веселой и радостной. Мелодия ее звучала будто само счастье — юное, невинное счастье жизни и любви, звуки подобно ангелам с нарядными снежно- белыми крыльями взлетали в голубое небо, откуда, казалось, падали снова, чтобы с улыбкой умереть. Это походило на смерть от тоски, от чрезмерной радости, быть может, от чрезмерно счастливой жизни и любви, от неспособности жить из-за сверхширокого, сверхпрекрасного, сверхнежного представления о жизни, такого представления, такой мысли, что эта нежная, брызжущая любовью и счастьем, дерзко вторгающаяся в бытие мысль в некотором роде сама себя опрокидывала и разбивалась о самое себя.

Когда девушка допела до конца свою столь же простую, сколь чарующую мелодию — то ли моцартовскую арию, то ли песенку пастушки, я подошел к ней, поздоровался, попросил позволения поздравить ее с дивным голосом и похвалил за необыкновенно задушевное исполнение.

Юная вокалистка, походившая на газель или антилопу в девичьем образе, удивленно-вопрошающе воззрилась на меня своими прекрасными карими глазами. Лицо у нее было милое и нежное, и улыбалась она пленительно и любезно.

— Вас ждет, — сказал я ей, — ежели только вы сумеете сберечь и с осторожностью развить ваш богатый голос, для чего потребуется и ваше собственное умение и умение других людей, блистательное будущее и большая карьера, ибо вы кажетесь мне, признаюсь честно и откровенно, прямо-таки будущей великой оперной певицей.

Вы, несомненно, наделены умом, по характеру мягки и податливы и, если я не совсем обманываюсь в своих догадках, безусловно обладаете душевной отвагой. Вам свойственны пылкость и явное благородство сердца, это я только что уловил из песни, которую вы пропели действительно хорошо и красиво. Вы талантливы, более того — гениальны!

Слова, которые я говорю вам сейчас, отнюдь не пустые и не лживые. Напротив того, я хочу просить вас как можно внимательней отнестись к вашему высокому дарованию, всемерно стараться не растерять, не растратить его раньше времени бездумным расточительством и небрежением. Покамест я могу лишь со всей искренностью вам заявить, что поете вы необыкновенно прекрасно, и это нечто весьма серьезное и весьма много значит. А значит, вас надо первым делом призвать заниматься пением и впредь, изо дня в день.

Упражняйтесь и пойте, соблюдая должную меру. Вы наверняка еще сами не знаете силы и возможностей сокровища, которым обладаете.

Вы уже достигли в пении высокой степени естественности, в вашем голосе звучит полнота живого, наивного чувства, избыток поэзии и человечности, и это, мне кажется, дает право заверить вас, что вы обещаете стать во всех смыслах настоящей певицей. Приходишь к мысли, что вы — человек, которого поистине что-то изнутри толкает петь, и вы, похоже, только тогда можете жить и радоваться жизни, когда начинаете петь, когда вкладываете в свое певческое искусство всю присущую вам жизнерадостность и жизнеспособность в такой мере, что все для вас лично человечески значительное, все силы вашей души и разума возводятся в нечто высшее, в некий идеал.

В прекрасном пении всегда заключено как бы сконцентрированное, спрессованное переживание, ощущение, способная взорваться перенасыщенность страстной стесненной жизни и взволнованной души, и с помощью такого искусства женщина, если только она сумеет использовать все благоприятные обстоятельства и взобраться вверх по лестнице многочисленных чудесных совпадений, способна, став звездой на музыкальном небосклоне, тронуть многие сердца, приобрести большие богатства, вызвать у публики бурные, восторженные аплодисменты и снискать любовь и искреннее восхищение королей и королев.

Девушка серьезно и удивленно слушала мои слова, которые я меж тем произносил скорее для собственного удовольствия, нежели для того, чтобы их поняла и оценила эта крошка — для этого ей недоставало должной зрелости.

Еще издали я замечаю железнодорожный переезд, через который мне надо будет пройти, но покамест я до него не дошел. Читателю непременно следует знать, что прежде я должен исполнить два-три важных поручения, а также покончить с кое-какими делами. Об этом надо рассказать как можно подробнее.

Да будет мне благосклонно дозволено заметить, что мимоходом я, по мере возможности, должен заглянуть в мастерскую элегантного мужского платья, то есть в портновское ателье, по поводу нового костюма, который мне надо примерить или приказать переделать.

Во-вторых, я должен пойти в общинный совет, или в городскую управу, чтобы уплатить изрядные налоги. В-третьих, мне надо отнести на почту немаловажное письмо и опустить его там в почтовый ящик. Кроме того, я постараюсь зайти постричься, так как уже довольно давно этого не делал.

Отсюда ясно, сколько всего мне предстоит переделать и насколько эта по видимости бесцельная приятная прогулка буквально кишмя-кишит деловыми, практическими хлопотами. Так что пусть уж читатель будет столь добр и простит мне промедления, снизойдет к опозданиям и одобрит канительные переговоры с канцеляристами и прочими службистами, а быть может, даже приветствует их как желанные вставки и добавки для его развлечения. Я заранее убедительно прошу милостиво меня извинить за все отсюда вытекающие длинноты, долготы и широты.

Бывал ли когда-нибудь какой-либо провинциальный или столичный автор более робок и вежлив по отношению к своим читателям? Полагаю, что вряд ли, а потому с совершенно спокойной совестью продолжаю болтать и рассказывать и сообщаю нижеследующее.

Тысяча чертей, да ведь уже самое время заскочить и фрау Эби, чтобы у нее отобедать. Как раз бьет половину первого. К счастью, эта дама живет близехонько отсюда. Мне стоит только незаметно, эдаким угрем скользнуть к ней в дом, как в нору или в приют для голодающих бедняков и жалких опустившихся субъектов.

Моя пунктуальность была образцовой. Известно, сколь редко встречается что-либо образцовое. Фрау Эби встретила меня наилюбезнейшим образом, чрезвычайно учтиво улыбалась, как нельзя более сердечно протянула мне свою милую ручку, чем меня прямо-таки очаровала, и сразу повела в столовую, где пригласила сесть за стол, что я, разумеется, исполнил с превеликим удовольствием и вполне непринужденно.

Без всякой смешной церемонности, с наивной простотой я принялся есть и отправлять в рот кусок за куском, даже отдаленно не подозревая, что мне предстоит пережить.

Итак, я живо набросился на еду и начал отважно есть, ведь такого рода отвага, как известно, больших усилий не требует. Между тем я с некоторым удивлением заметил, что фрау Эби смотрит на меня прямо-таки с благоговением. Это было несколько странно. Для нее было явно увлекательно смотреть, как я накладываю себе и ем. Это странное явление меня изумило, но большого значения я ему не придал.

Когда я вознамерился с ней поболтать, завести беседу, она это мое намерение пресекла, заявив, что с величайшей радостью отказывается от какого бы то ни было разговора. Такие необычные речи меня озадачили, я почувствовал тревогу. В мою душу закрался страх перед фрау Эби. Когда я было перестал отрезать и класть в рот куски, почувствовав, что я сыт, она сказала с нежным выражением лица, голосом, в котором трепетал материнский упрек:

— Но вы же ничего не едите. Пойдите, я сейчас отрежу вам действительно большой и сочный кусок.

Меня охватил ужас. Я отважился вежливо и учтиво ей возразить, что пришел в основном для того, чтобы блеснуть остроумием, однако фрау Эби с обворожительной улыбкой ответила, она-де отнюдь не считает это необходимым.

— Я совершенно не в состоянии больше есть, — сказал я глухим, сдавленным голосом. Я и так уже чуть не лопался и обливался потом от страха.

Фрау Эби сказала:

— Я никак не могу согласиться с тем, чтобы вы перестали отрезать и класть в рот куски, и ни за что не поверю, будто вы на самом деле сыты. Когда вы говорите, что вот-вот лопнете, то это конечно неправда. Невольно думаешь, будто вы говорите это из вежливости. От каких бы то ни было остроумных разговоров я, как уже сказала, с удовольствием отказываюсь. Вы наверняка пришли сюда прежде всего за тем, чтобы доказать, какой вы хороший едок и засвидетельствовать свой аппетит. От этого мнения я ни в коем случае не отступлюсь, напротив того, я душевно вас прошу добровольно подчиниться необходимости. Смею вас заверить, что иной возможности выйти из-за стола, кроме как подчистую съев и проглотив все, что я положила вам на тарелку и положу еще, у вас нет.

Боюсь, что вы безвозвратно погибли, ведь, к вашему сведению, на свете есть такие хозяйки, которые до тех пор потчуют своих гостей и заставляют их есть, пока тем не станет дурно. Вас ожидает жалкая, плачевная участь, но вы мужественно примете ее. Всем нам однажды приходится принести какую-нибудь большую жертву!

Повинуйтесь и ешьте! Повиновение ведь так сладостно. Что за беда, если от этого вы погибнете?

Этот деликатесный, мягкий, большущий кусок вы конечно еще уничтожите, я знаю. Мужайтесь, дорогой друг! Всем нам необходима отвага. Велика ли нам цена, если мы всегда стремимся утвердить лишь собственную волю?

Соберитесь с силами и заставьте себя совершить подвиг, вынести невыносимое и стерпеть нестерпимое.

Вы не поверите, сколь приятно мне видеть, как вы будете есть до потери сознания. Вы даже не представляете себе, как я была бы расстроена, если бы вы попытались этого избежать, но ведь вы этого не сделаете, правда же, ведь правда же — вы будете грызть и глотать, пусть бы кусок уже не лез вам в горло.

— Ужасная женщина, за кого вы меня принимаете? — вскричал я, выскочив из-за стола с намерением тотчас же убежать из этого дома. Однако фрау Эби удержала меня. Она громко и весело расхохоталась и призналась мне, что позволила себе надо мной подшутить и я буду очень добр, если не стану за это на нее сердиться.

— Я только хотела наглядно вам показать, как поступают некоторые хозяйки, буквально не знающие меры в угождении своим гостям.

Тут и я не мог не рассмеяться и должен признать, что эта шалость фрау Эби мне очень понравилась. Она хотела, чтобы я оставался у нее до самого вечера, и кажется рассердилась, когда я сказал, что, к сожалению, составлять ей компанию и дальше для меня дело невозможное, поскольку мне надо уладить кое-какие важные дела, которые я ни в коем случае не могу отложить. Мне было чрезвычайно лестно слышать, как глубоко сожалеет фрау Эби, что я вынужден и намерен так скоро от нее уйти. Она спросила, действительно ли мне столь уж необходимо удрать, улизнуть, а я поклялся ей всем святым, что только крайняя необходимость обладает должной силой и способностью, чтобы так скоро увести меня из такого приятного места и от такой привлекательной и почтенной особы. С этими словами я с нею распрощался.

Теперь мне предстояло победить, обуздать, ошеломить и поколебать упрямого, строптивого и, видимо, безгранично уверенного в непогрешимости своего наверняка высокого искусства, всецело проникнутого сознанием своей значительности, а также своего мастерства, и в этой своей уверенности совершенно непоколебимого портного, или Marchand Tailleur.[13]

Сокрушить портновскую стойкость — эту задачу следует рассматривать как одну из сложнейших и наиболее трудоемких из всех, на какие человек может решиться, лишь обладая отвагой и отчаянной решимостью не отступать. Перед портными и их воззрениями я вообще постоянно испытываю сильный страх, чего, однако, нисколько не стыжусь, ибо в этом случае страх легко объясним.

Так что я и теперь был готов к плохому, если не к худшему, и для подобной опасной наступательной операции вооружился такими свойствами, как мужество, упорство, гнев,

возмущение, презрение, даже уничтожающее презрение, и с этим несомненно весьма достойным оружием я намеревался победоносно и успешно выступить против едкой иронии и насмешки, прикрытой наигранным простодушием.

Но вышло по-другому. До поры до времени я об этом умолчу, тем более что я ведь сперва еще должен отправить письмо. Я же только что решил первым делом пойти на почту, потом к портному, а уж после того уплатить налоги.

Почта, уютного вида здание, оказалась прямо у меня под носом. Я с радостью туда вошел и попросил у почтового служащего марку, которую наклеил на конверт.

Осторожно опуская его в почтовый ящик, я мысленно взвесил и воспроизвел в уме то, что написал. Я отчетливо помнил, что письмо содержало следующее:

«Взыскующий глубокого уважения господин..!»

Это необычное обращение имеет целью уверить вас в том, что отправитель сего относится к вам весьма неприязненно. Я знаю — мне никогда не дожждаться уважения от вас и вам подобных, а не дожждаться мне его потому, что вы и вам подобные слишком высокого мнения о себе и это мешает пониманию вами других и вниманию к ним. Я определенно знаю, что вы принадлежите к разряду людей, которые кажутся себе великими оттого, что они бесцеремонны и невежливы, которые мнят себя могущественными оттого, что пользуются протекцией, которые воображают себя мудрыми оттого, что им время от времени приходит на ум словечко «мудрый».

Люди, подобные вам, осмеливаются сурово, грубо, дерзко и жестоко обращаться с бедняками и беззащитными. Люди, подобные вам, от большого ума полагают, будто им необходимо везде быть первыми, во всем иметь перевес и денно и нощно над всеми торжествовать. Люди, подобные вам, не замечают, что это безрассудно и не только выходит за пределы возможного, но и никоим образом не может быть желательным. Люди, подобные вам, спесивы и всегда готовы усердно служить всему жестокому. Люди, подобные вам, с необычайным мужеством старательно избегают всякого истинного мужества, ибо знают, что всякое истинное мужество сулит им ущерб, зато они необыкновенно мужественны в своем непомерном желании и непомерном старании притворяться добрыми и прекрасными. Люди, подобные вам, не уважают ни старость, ни заслуги, и уж меньше всего они уважают труд. Люди, подобные вам, уважают деньги, и это уважение мешает им чтить что-либо другое.

Кто честно работает, неутомимо трудится, тот в глазах подобных вам людей просто осел. В этом я не ошибаюсь, мое внутреннее чувство подсказывает мне, что я прав. Беру на себя смелость заявить вам прямо в лицо, что вы злоупотребляете своим служебным положением, ибо прекрасно знаете, с какими неприятностями и осложнениями была бы сопряжена попытка дать вам по рукам. Несмотря на милость и покровительство, которыми вы пользуетесь, и при тех благоприятных условиях, в которых вы существуете,

вы все же очень обеспокоены, потому что наверняка чувствуете, сколь шатко ваше положение.

Вы обманываете доверие, не держите слова, бездумно ущемляете честь и достоинство тех, кто имеет с вами дело, прибегаете к беспощадной эксплуатации, выдавая ее за благодеяние, предаете дело и клевете на того, кто ему служит, вы нерешительны и ненадежны и проявляете свойства, которые легко извинимы у девушки, но никак не у мужчины.

Простите, но я позволю себе считать вас личностью чрезвычайно слабой, и наряду с искренним заверением в том, что автор этих строк почтет за благо впредь всемерно избегать каких-либо деловых отношений с вами, примите все-таки положенную вам и заранее заданную меру уважения от человека, которому выпала честь, равно как и поистине относительное удовольствие познакомиться с вами».

Я уже почти раскаивался в том, что доверил почте это бандитское письмо — таким оно стало казаться мне позднее, потому что я вовлек себя в состояние беспощадной войны, объявив высоким слогом о разрыве дипломатических, а точнее, экономических отношений не кому-нибудь, а руководящему, влиятельному лицу. Так или иначе, я дал ход этому воинственному письму, но в утешение себе подумал, что этот человек или этот взыскующий глубокого уважения господин едва ли хоть раз прочтет, и уж тем менее станет перечитывать мое послание, — этот замечательный текст с первых же слов покажется ему скучным, стало быть, он, не теряя драгоценного времени и достойных лучшего применения сил швырнет мои пламенные излияния в корзину для бумаг, поглощающую или хранящую в себе все нежелательное.

«К тому же такие вещи за несколько месяцев сами собой забываются», — рассуждал и философствовал я, отважно шагая к портному.

Портной, веселый и, по-видимому, с кристально чистой совестью, сидел в своем изящном, набитом благоухающими сукнами и обрезками материй модном салоне, или мастерской. Запертая в клетке шумливая птица, а также прилежный, усердно занятый раскрытием плутоватый ученик словно завершали идиллию.

Владелец мастерской господин Дюнн, заведя меня, вежливо поднялся со своего места, где усердно орудовал иглой, дабы учтиво приветствовать посетителя.

— Вы пришли по поводу вашего костюма, который моя фирма сейчас должна выдать вам совершенно готовым и несомненно безупречно на вас сидящим, — сказал он, пожалуй, слишком уж по-приятельски подавая мне руку, что, впрочем, не помешало мне ее пожать.

— Я пришел, — ответил я, — чтобы неустрашимо, в радостной надежде приступить к примерке, хотя я полон всяческих опасений.

Господин Дюнн сказал, что любые опасения находит излишними, поскольку гарантирует качество покроя и пошива. С этими словами он провел меня в боковую комнату, откуда

сам сразу же ретировался. Не очень-то мне нравились его бесконечные заверения и гарантии. Сразу за тем состоялась и примерка, а также прямо порожденное ею разочарование.

С трудом подавляя переполнявшую меня досаду, я громко и резко потребовал к себе господина Дюнна и с предельным спокойствием и барственным неудовольствием бросил ему в лицо:

— Я так и знал!

— Дражайший, уважаемый господин, не надо попусту волноваться.

Я с трудом выдавил из себя:

— Уж чего-чего, а причин для волнения и расстройства здесь предостаточно. Сделайте милость, поберегите ваши неуместные увещания для себя и немедленно оставьте попытки меня успокоить. То, что вы сделали, пытаясь изготовить безупречный костюм, внушает крайнюю тревогу. Робкие и неробкие опасения, которые я питал, во всех отношениях оправдались, а мои худшие предчувствия всячески подтвердились. Как можете вы ручаться за безупречность покроя и пошива и откуда у вас берется смелость заверять меня, будто вы мастер своего дела, когда вы при самой худосочной честности и малейшей внимательности и правдивости должны без обиняков признать, что меня постигла полнейшая неудача, и тот безупречный костюм, что собиралась мне выдать ваша уважаемая и замечательная фирма, на самом деле совершенно испорчен.

— Покорнейше прошу не употреблять выражения «испорчен».

— Постараюсь держать себя в руках, господин Дюнн.

— Благодарю вас, душевно рад столь приятному намерению.

— С вашего позволения, я требую, чтобы вы занялись серьезной и радикальной переделкой костюма — в нем, как показала только что сделанная вами тщательная примерка, обнаружилась масса ошибок, недостатков, пороков.

— Это можно.

— Недовольство, досада и печаль, охватившие меня, вынуждают меня сказать вам, что вы причинили мне огорчение.

— Клянусь вам, что я об этом сожалею.

— Готовность, с какою вы клянетесь, будто сожалеете, что огорчили меня и испортили мне настроение, совершенно ничего не меняет в этом скверном костюме, и я решительно отказываюсь хоть в малейшей степени его признать и абсолютно не согласен принять, поскольку здесь и речи быть не может об одобрении или похвалах.

Что касается пиджака, то я отчетливо ощущаю, что он делает меня горбатым, а значит, безобразным. Это уродство, с которым я ни при каких обстоятельствах смириться не могу. Наоборот, я вынужден против этого категорически протестовать.

Рукава страдают прямо-таки ошеломляюще чрезмерной длиной. Особенно отличается жилет: он производит скверное впечатление и вызывает неприятную мысль, будто у его обладателя толстый живот.

Брюки просто отвратительны. Их рисунок, модель внушают мне подлинный, непритворный ужас. Там, где это жалкое, смешное, страшно нелепое произведение портновского искусства, именуемое брюками, должно быть достаточно широким, оно оказывается удрушающе узким, а там, где должно быть узким, оно непомерно широкое.

В общем и целом, господин Дюнн, эта ваша работа начисто лишена фантазии. Ваше произведение свидетельствует о недостатке интеллекта. В этом костюме чувствуется что-то жалкое, мелкое, ничтожное, от него так и веет чем-то глупым, боязливым и доморощенным. Того, кто изготовил такой костюм, разумеется, нельзя причислить к одаренным натурам. Так или иначе, но о подобном отсутствии всякого таланта приходится только сожалеть.

У господина Дюнна хватило наглости заявить:

— Вашего возмущения я не понимаю и никогда не сподоблюсь понять. Множество сердитых упреков, какие вы сочли нужным мне высказать, для меня — загадка и, по всей вероятности, так загадкой и останутся. Костюм сидит превосходно. В этом меня никто не переубедит. Я заявляю: моя уверенность в том, что в этом костюме вы смотрите необыкновенно выигрышно, непоколебима. К некоторым отличающим его особенностям вы в скором времени привыкнете. Высшие государственные чиновники заказывают у меня свой достоуважаемый гардероб. Точно так же и господа председатели суда благосклонно отдают мне в работу свои вещи. Вот вам достаточно неопровержимые доказательства моего мастерства! Я никак не могу удовлетворять чрезмерные запросы, а наглые требования, к счастью, мастера Дюнна совершенно не трогают. Люди более высокого положения и господа поблагороднее вас были во всех отношениях довольны моим искусством и опытом, — хотелось бы заметить, что теперь я, надеюсь, вас окончательно обезоружил.

Поскольку я был вынужден признать, что ничего поделаться нельзя, и пришел к мысли, что атака, возможно, слишком пылкая и порывистая, к сожалению, обернулась жесточайшим и постыднейшим из поражений, то вывел свои войска из этой злосчастной баталии, протрубил отбой и со стыдом обратился в бегство.

Так вот и окончилась смелая авантюра с портным. Не озираясь по сторонам в поисках чего-либо другого, я поспешил к общинной кассе по налоговым делам. Однако тут надо будет исправить одну грубую ошибку.

Как мне теперь представляется, речь шла не столько об уплате налогов, сколько пока лишь о беседе с президентом достохвального налогового комитета, а также о вручении или произнесении торжественной декларации. Пусть читатель извинит меня за эту ошибку и любезно выслушает, что я собираюсь на сей счет сообщить.

Подобно тому как стойкий портной Дюнн гарантировал безупречность своей работы, так и я обещаю и гарантирую подробность и точность, а также лаконичность и краткость требуемой налоговой декларации.

Хочу сразу же окунуться в эту восхитительную ситуацию:

— Позвольте вам сказать, — непринужденно и смело обратился я к налоговому инспектору, а возможно, и к самому почтенному налоговому директору, который приклонил ко мне свое начальственное ухо, дабы внимательно выслушать начатое мною сообщение, — что я как бедный писатель или же *homme de lettres*[14] располагаю весьма ненадежным доходом.

В моем случае, разумеется, никаких признаков накопления капитала обнаружить нельзя, что я, к моему величайшему прискорбию, тем самым констатирую, хоть и не лью слезы по поводу сего печального факта.

Я не отчаиваюсь, но столь же мало имею причин торжествовать или ликовать. В общем, я, как говорится, еле-еле свожу концы с концами.

В роскоши я не купаюсь. Это вам ясно с первого взгляда. Пищу, которую я ем, можно назвать достаточной и скудной.

Вам явно пришла в голову мысль, будто я располагаю разнообразными доходами. Я считаю себя вынужденным вежливо, но решительно воспротивиться как этой мысли, так и другим предположениям подобного свойства, и сообщить вам голую, нехитрую правду, которая, что ни говори, гласит одно: я совершенно свободен от богатства, зато весьма обременен всеми видами бедности, и будьте добры иметь это в виду.

По воскресеньям я едва могу показаться на улице, потому что у меня нет выходного платья. По своему умеренному, бережливому образу жизни я схож с мышью-полевкой. Даже у воробья и то больше шансов стать зажиточным, нежели у ныне докладывающего вам налогоплательщика. Я написал несколько книг, но, к сожалению, они не встретили ни малейшего отклика у публики. Это привело к удручающим последствиям. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что вы это поймете и соответственно представите себе мое своеобразное финансовое положение.

У меня нет никакого официального поста, никакого престижа в обществе и т. д. — это ясно как день. Перед таким человеком, как я, ни у кого, видимо, не существует ни малейших обязательств. Живой интерес к художественной литературе представлен чрезвычайно слабо. Кроме того, беспощадная критика, которой каждый считает своим

долгом подвергнуть произведения нашего брата, также причиняет нам сильный вред и словно тормоз препятствует достижению самого скромного благосостояния.

Конечно, существуют добрые покровители и любезные покровительницы, время от времени благородно оказывающие поддержку писателю. Однако дар это отнюдь не доход, а помощь — не состояние.

По этим убедительным мотивам, высокоуважаемый господин директор, я бы вас просил любезно отказаться по отношению ко мне от какого бы то ни было повышения налога, о котором вы меня уведомили, и, бога ради, постараться оценить мою платежеспособность елико возможно низко.

Директор, или таксатор, сказал:

— Однако вас всегда видят гуляющим!

— Гулять, — отвечал я ему, — я должен непременно, чтобы воодушевляться и поддерживать связь с миром, ибо, перестав его ощущать, я не смогу больше написать ни единой буковки, не смогу создать ни единого произведения, ни в стихах, ни в прозе. Без прогулок я был бы мертв, а от своей профессии, которую горячо люблю, вынужден был бы давно отказаться. Без прогулок и возможности подхватывать сообщения на лету я не смог бы сделать даже пустячного сообщения, не смог бы также написать статью, не говоря уже о новелле. Без прогулок я был бы лишен возможности копить факты и наблюдения. Такой умный и просвещенный человек, как вы, мгновенно это поймет.

Во время моих пространных прогулок мне приходят в голову тысячи дельных мыслей, а сидя взаперти у себя дома я бы жалким образом засох и зачах. Гулять мне полезно не только для здоровья, но и для дела, не только приятно, но и необходимо. Прогулка способствует моим профессиональным занятиям и в то же время доставляет удовольствие мне лично: она меня утешает, радует, бодрит, является для меня наслаждением; в то же время ей свойственно меня подстегивать и побуждать к дальнейшему творчеству, преподнося мне множество более или менее значительного объективного материала, который я потом могу основательно обработать дома. Каждая прогулка изобилует достопримечательными, волнующими явлениями. На этих милых прогулках, будь они хоть совсем короткими, тебя в большинстве случаев буквально обступают картины, поэмы во плоти, притягательные вещи, красоты природы. Зрению и чувствам внимательного наблюдателя, который, конечно, должен гулять не с опущенными, а с открытыми, незамутненными глазами, открывается возможность познать природу и край во всем их очаровании и прелести, если только он хочет, чтобы его прогулка возымела достойную цель и широкий, благородный смысл.

Подумайте о том, какое обнищание, какой плачевный крах постигли бы писателя, если бы природа — мать, отец и дитя — каждый раз не подводила его снова к источнику добра и красоты. Подумайте о том, какое огромное значение для писателя снова и снова приобретают уроки и бесценные высокие наставления, которые он черпает на вольном

просторе. Без прогулок и связанного с ними созерцания природы, без этого столь же отрадного, сколь и поучительного, столь же ободряющего, сколь и неизменно предостерегающего осведомления я чувствую себя погибшим и действительно погибаю. С величайшим вниманием и любовью гуляющий должен изучать и рассматривать всякий, пусть и малейший живой предмет, будь то ребенок, собака, комар, бабочка, воробей, червяк, цветок, человек, дом, дерево, терновник, шиповник, мышка, тучка, гора, лист, пусть даже какой-то жалкий брошенный клочок бумаги, на котором, быть может, славный маленький школьник вывел свои первые неуклюжие буквы.

Для него одинаково милы, прекрасны и дороги вещи самые высокие и самые низкие, самые серьезные и самые забавные. Он не должен носиться со своим уязвимым самолюбием, а напротив — пытливым взглядом, бескорыстно, без тени эгоизма все оглядывать, повсюду заглядывать, всецело предаться осмотру и наблюдению, а самим собой, своими собственными жалобами, потребностями, нехватками, лишениями уметь пренебречь или вовсе их забыть, подобно бравому, исправному, самоотверженному и бывалому солдату.

В ином случае он будет гулять рассеянно, а это мало чего стоит.

Он должен быть всегда готов к состраданию, к сочувствию, к воодушевлению, и надо надеяться, что так оно и есть. Он должен обладать способностью воспарить в энтузиазме, но с такой же легкостью снизойти до самых обыденных мелочей, и вероятно, он это умеет. Но и преданное, жертвенное проникновение в явления и вещи, саморастворение в них, неотступная любовь ко всему окружающему делают его счастливым так же, как всякое исполнение своего долга делает человека, свой долг сознающего, душевно богатым и счастливым. Высокая мысль и увлеченность наполняют его восторгом, возносят над собственной личностью — личностью гуляющего, о котором достаточно часто поговаривают, будто он шатается без дела, попусту растрачивая время. Многообразные наблюдения обогащают, развлекают, смягчают и облагораживают его, и занятие, которому он с таким рвением предается, порой, возможно, близко соприкасается с точными науками, хотя в знакомстве с ними никто и не заподозрит такого, по видимости, легкомысленного шатуна.

Знаете ли вы, что в голове у меня идет упорная и напряженная работа, и я, быть может, в лучшем смысле слова деятелен, когда кажусь кому-то нерадивым, мечтательным, вялым и подозрительным архибездельником, человеком без всякого чувства ответственности, бездумно и бесцельно блуждающим на зелено-голубом просторе?

Следом за гуляющим крадутся тайком всевозможные идеи и замыслы, да так, что он невольно прерывает свое терпеливое, внимательное хождение и останавливается, прислушиваясь: его, всецело захваченного необычайными впечатлениями, властью духов, внезапно пронизывает волшебное чувство, будто он опускается в глубь земли — перед ослепленными блуждающими глазами мыслителя и поэта разверзается бездна. Голова у него чуть не отваливается. Руки и ноги, обычно такие подвижные, словно немеют. Край и

люди, звуки и краски, лица и предметы, облака и солнечный свет — все вертится вокруг него, как хоровод призраков, и он задается вопросом: «Где я?»

Земля и небо плывут и, вспыхнув, сливаются в зыбкий, расплывчато мерцающий мираж. Возникает хаос, какой бы то ни было порядок исчезает. Потрясенный, он с трудом пытается не потерять сознание; это ему удается. Позднее он доверчиво продолжает прогулку.

Считаете ли вы совершенно невозможным, чтобы во время такой неспешной прогулки я встречал великанов, удостоился чести видеть профессоров, попутно вел переговоры с книготорговцами и банковскими служащими, говорил с певицами и актрисами, обедал у остроумных дам, бродил по лесам, отправлял опасные письма и отчаянно сражался с коварными, насмешливыми портными? Все это, однако, может произойти, и я верю, что на самом деле произошло.

Гуляющему всегда сопутствует нечто диковинное, фантастическое, и он был бы глупцом, если бы оставил без внимания эти порождения духа, но он этого вовсе не делает, а, наоборот, сердечно приветствует все необычайные явления, сближается, братается с ними, превращает их в осязаемые, сущностные тела, наделяет их душой и образом, равно как и они одушевляют и образуют его.

Короче говоря: я зарабатываю свой хлеб тем, что думаю, размышляю, вникаю, постигаю, корплю, творю, исследую, обследую и гуляю, и этот хлеб ничуть не легче всякого другого. Когда я, возможно, строю самую веселую мину, я предельно серьезен и ответствен, а когда кажусь замечтавшимся и растроганным — основательно занимаюсь своим делом. Могу ли я надеяться, что, дав вам эти исчерпывающие объяснения, вполне убедил вас в очевидной добросовестности моих исканий?

— Хорошо! — сказал чиновник и добавил: — Ваше ходатайство об установлении вам как можно более низкой налоговой ставки должно быть рассмотрено. Имеющее вскоре быть принятым решение — отрицательное или положительное — будет вам послано. Мы весьма благодарны вам за любезно сообщенную нам достоверную информацию, а также за ваши искренне, с горячностью сделанные признания. Пока что вы можете удалиться, чтобы спокойно продолжить прогулку.

Будучи милостиво отпущен, я с удовольствием поспешил прочь и вскоре снова очутился на улице, где меня захватило и захлестнуло чувство восторга и упоения свободой.

После множества стойко перенесенных приключений и более или менее успешно преодоленных препятствий я наконец подхожу к уже давно возведенному мною железнодорожному переезду. Здесь мне пришлось на несколько минут остановиться и кротко ждать, пока поезд со всеми своими вагонами не соизволит прокатить мимо. Вместе со мной у шлагбаума стояли люди всякого рода и звания, молодые и старые, мужчины и женщины. Полная миловидная жена путевого обходчика внимательно рассматривала всех, кто стоял здесь и ждал. Проносившийся мимо поезд был полон военных. Глядевшие из

окон солдаты, служащие любимому, дорогому отечеству, с одной стороны, и бесполезная гражданская публика — с другой, весело и патриотично приветствовали друг друга. Этот обмен приветствиями и создал у всех приподнятое настроение.

Когда переезд наконец открылся, я и остальная публика пошли дальше, но только теперь все окружающее вдруг стало казаться мне в тысячу раз прекраснее, чем прежде. Моя прогулка становилась все прекрасней и значительней. Это место, этот железнодорожный переезд, подумал я, оказался чем-то вроде высшей точки или центра, откуда все начнет тихонько сходить вниз. Я уже предощущал нечто похожее на медленный предзакатный спуск. Вокруг словно повеяло сладостной тоской — дыханием безмолвного небесного божества. «Здесь сейчас несказанно прекрасно», — снова подумал я.

Пленительный край с его неширокими лугами, милыми домами и садами показался мне трогательной прощальной песней. Со всех сторон долетали до меня вековые жалобы бедного, страдающего народа. Всплывали призраки в восхитительных одеяниях — огромные, мятущиеся, многоликие. Красивый узкий проселок переливался голубыми, белыми и золотистыми тонами. Умиление и восторг, подобные спорхнувшим с неба ангелам, реяли над желтоватыми в розовой дымке домами бедняков, которые с детской нежностью обнимало солнечное сияние. Рука об руку, как тиховейное дыхание, витали любовь и бедность. У меня было такое чувство, будто кто-то окликает меня по имени, целует или утешает меня, будто сам всемогущий бог, наш господь и владыка, вступил на эту дорогу, чтобы сделать ее неописуемо прекрасной. Всевозможные порождения фантазии внушали мне, что сюда явился Иисус Христос и странствует теперь по этому чудесному краю, среди всех этих добрых, славных людей. Все человечески-плотское и предметное словно бы претворилось в исполненную кротости душу. Серебристый флер, облачка души наплывали, окутывали все. Открылась мировая душа, и все зло, страдание и скорбь вот-вот улетят прочь, — фантазировал я. Глазам моим представились мои прежние прогулки. Однако чудесная картина настоящего вскоре возобладала над другими впечатлениями. Будущность поблекла, а прошлое расплылось. В пылу этого мгновения я пылал сам. Со всех сторон и со всех концов подступало ко мне, сияя просветленными, блаженными ликами, все Великое и Доброе. Здесь, посреди этого прекрасного края, я только о нем и думал, все другие мысли улетучились. Я внимательно всматривался во все даже самое малое и неприметное, а небо тем временем, казалось, ходит ходуном, то взлетая высоко вверх, то падая глубоко вниз. Земля стала сном, а сам я — внутренней сущностью, и я двигался словно внутри себя. Все внешнее потерялось, а все прежде понятное стало непонятным. Я сорвался с поверхности в глубину, в которой мгновенно распознал Добро. То, что мы понимаем и любим, понимает и любит нас. Я был уже не самим собой, а другим, но именно благодаря этому опять стал воистину самим собой. В сладостном свете любви я, казалось мне, смог постичь и не мог не почувствовать, что человек, живущий внутренней жизнью, это единственный действительно существующий человек. Мне пришла в голову мысль: где были бы мы, люди, если бы не существовало нашей доброй, надежной Земли? Не будь ее, что бы у нас было? Где бы я находился, если бы не мог находиться здесь? Здесь у меня есть все, а в другом месте не было бы ничего.

То, что я видел, было столь же величавым, сколь жалким, столь же ничтожным, сколь значительным, столь же очаровательным, сколь скромным, и столь же добрым, сколь теплым и милым. Особенно порадовали меня два дома, стоявшие в ярком солнечном свете друг подле друга, будто живые фигуры двух радушных соседей. В мягком доверчивом воздухе одна приятность оведала другую, и все трепетало, словно от тихого удовольствия. Одним из двух домов был трактир «У медведя». Изображение медведя на вывеске показалось мне превосходным и забавным. Каштановые деревья осеняли красивый дом, где несомненно жили славные, милые люди, — ведь этот дом не казался высокомерным, как иные здания, а выглядел как сама доверчивость и верность. Повсюду, куда ни кинь взгляд, виднелись густые великолепные сады, сплошные завесы из пышнолистных зеленых ветвей.

Второй, низенький дом в своей приметной миловидности походил на детски-наивную страницу из книжки с картинками — таким он представлялся необычным и привлекательным. Мир вокруг этого домика казался совершенством добра и красоты. В этот хорошенький домик, будто сошедший с картинки, я, можно сказать, тотчас по уши влюбился и с огромным удовольствием сразу бы туда вошел, чтобы снять себе там квартиру и свить гнездо, чтобы навсегда водвориться в этот чудо-домик и обрести блаженство. Однако именно самые лучшие квартиры в большинстве случаев, на беду, оказываются занятыми, и плохо приходится тому, кто ищет себе квартиру, отвечающую его взыскательному вкусу, — ведь то, что еще не занято и доступно, зачастую оказывается безобразным и вызывает неподдельный ужас.

Конечно же в прелестном этом домике жила одинокая маленькая женщина или бабуся, — именно так он и выглядел и такой именно шел от него дух. Да позволено мне будет сообщить, что это небольшое строение пестрело стеной живописью или фресками, на которых изящно и затейливо изображался швейцарский альпийский ландшафт с бернской горной хижиной, разумеется намалеванной. Живопись эта, правда, сама по себе была отнюдь не прекрасна. Утверждать, что здесь мы имели дело с произведением искусства, было бы слишком смело. И все-таки мне эта живопись показалась очаровательной. Такая, как есть, наивная и простая, она была даже способна привести меня в восхищение. В сущности, меня восхищает всякое, хотя бы самое неумелое произведение живописи, потому что любое из них наводит на мысль, во-первых, о прилежании и усердии, а во-вторых, о Голландии. Разве не прекрасна всякая, даже самая убогая музыка для того, кто любит сущность и существование музыки? Разве человеколюбу не любезен всякий другой человек, пусть даже самый недобрый и неприятный? Никто не станет отрицать, что пейзаж, намалеванный на фоне естественного, представляется причудливым и пикантным. Тот факт, что в доме живет старенькая бабушка, я, впрочем, еще не запротоколировал. Однако меня просто удивляет, как это я позволяю себе произносить такие слова, как «запротоколировать», когда вокруг все так нежно и непосредственно, словно чувства и чаяния материнского сердца! В остальном домик был выкрашен серо-голубой краской, ставни же у него были светло-зеленые, и казалось, они улыбаются, а в

саду благоухали прекраснейшие цветы. Над этим садовым или дачным домом, грациозно изогнувшись, склонялся розовый куст, усыпанный великолепными розами.

Если только я не болен, а здоров и бодр, на что я горячо уповаю и в чем нисколько не сомневаюсь, то, значит, спокойно шествуя дальше, я дошел до сельской парикмахерской, с содержателем и содержимым которой у меня, пожалуй, не было причины связываться, поскольку, на мой взгляд, мне пока что не так уж необходимо стричься, хотя возможно, что это было бы очень приятно и забавно.

Затем я проследовал мимо сапожной мастерской, напомнившей мне о несчастном писателе Ленце, который в состоянии умопомрачения и умопомешательства выучился тачать и действительно тачал башмаки.[15]

Мимоходом я заглянул в приветливый школьный класс, где строгая учительница как раз спрашивала учеников, громко покрикивая на них, причем надо заметить, что мне вдруг неудержимо захотелось снова стать мальчишкой, непослушным школьником, снова ходить в школу и получать за свои шалости заслуженную порцию розог.

Раз уж мы заговорили о порке, то следует присовокупить: на наш взгляд, сельский житель, у которого не дрогнет рука срубить украшение пейзажа, красу его собственной усадьбы — высокое старое ореховое дерево, дабы выручить за него презренные дурацкие деньги, заслуживает того, чтоб его хорошенько высекли.

Потому-то при виде красивого крестьянского дома с растущим возле него великолепным и могучим ореховым деревом я звонко воскликнул: «Это высокое величественное дерево, так чудесно осеняющее и украшающее дом, обвивающее и облекающее его такой торжественной и радостной таинственностью, такой уютной и задушевной домовитостью, — это дерево, говорю я, подобно божеству, и тысяча ударов плетью причитается бесчувственному владельцу, коли он посмеет известить эту великолепную прохладительную листву ради того лишь, чтобы удовлетворить свою алчность — подлейшее из всего, что есть на земле. Подобных болванов следовало бы исключать из общины. В Сибирь и на Огненную Землю таких осквернителей и ниспровергателей красоты! Однако на свете, слава богу, есть еще крестьяне, которые, конечно же, не утратили чувство и понимание красоты и добра».

В том, что касается дерева, жадности хозяина дома, высылки его в Сибирь и порки, которой он, по-видимому, заслуживает за то, что уничтожает дерево, меня, пожалуй, немножко занесло, я должен сознаться, что не совладал со своим гневом. Между тем друзья прекрасных деревьев поймут мою досаду и присоединятся к столь энергично выраженному сожалению. А тысячу ударов плетью я, так уж и быть, возьму обратно. За грубое слово «болван» я и сам себя хвалить не стану. Оно заслуживает порицания, и я должен за него просить извинения у читателей. Поскольку извиняться мне пришлось уже неоднократно, я успел приобрести некоторый навык в этом роде вежливости. Совершенно ни к чему было говорить «бесчувственный владелец». По-моему, все это — воспаления ума, которых следует всячески избегать. Так или иначе, ясно, что скорбь о гибели

красивого дерева я оставляю в стороне. Но выражение лица у меня в связи с этим будет злое, чего мне никто запретить не может. «Исключить из общины» сказано неосторожно, а что касается алчности, которую я называл подлой, то я допускаю, что на сей счет и сам уже раз-другой тяжело грешил, ошибался и оступался и что конечно тоже не избежал некоторых скверностей и низостей.

Тем самым я веду игру на понижение, да так замечательно, что лучше и не придумаешь, однако такую игру я считаю необходимой. Приличие обязывает нас следить за тем, чтобы с самими собой мы поступали так же строго, как с другими, чтобы других судили так же мягко, как самих себя, — а уж последнее-то, как известно, мы всегда делаем невольно.

Ну разве это не умирительно, как я тут исправляю свои ошибки и заглаживаю проступки? Делая признания, я показываю себя миротворцем, а закругляя углы, сглаживая шероховатости, смягчая жесткость, выступаю как кроткий утишитель, проявляю понимание хорошего тона и веду тонкую дипломатию. При всем том я, конечно, осквернился, но все же надеюсь, что мне по крайней мере не откажут в наличии доброй воли.

Если же и теперь кто-нибудь все-таки скажет, что я беспардонный самодур и прущий напролом властолюбец, то я утверждаю: человек, заявивший такое, жестоко заблуждается. Ни один автор, наверно, не думает о читателе с такой неизменной робостью и почтительностью, как я.

Ну-с, так, а теперь я могу услужливо преподнести вам особняки или дворцы знати, и вот каким манером.

Я откровенно хвастаюсь, ибо такой полуразвалившейся помещичьей усадьбой и патрицианским владением, таким поседевшим от старости рыцарским замком и барским домом, как тот, что маячит теперь впереди, можно козырять, привлекать к себе внимание, пробуждать зависть, вызывать восхищение и стяжать почет.

Иной бедный утонченный литератор с превеликим удовольствием и радостью поселился бы в каком-нибудь дворце или замке с внутренним двором и въездом для господских экипажей, украшенных гербами. Иной сибаритствующий бедный художник мечтает время от времени пожить в прекрасной старинной усадьбе. Иная образованная, но, к сожалению, явно нищая городская барышня с меланхолическим упоением и неземным восторгом грезит о прудах, гротах, высоких покоях и портшезах и в разгоряченном воображении видит, как ей служат проворная челядь и благородные рыцари.

На барском доме, который я узрел перед собой, то есть скорее над домом, чем на нем самом, можно было разглядеть и прочесть дату «1709», что, разумеется, весьма подогрело мой интерес. С любопытством, близким к восторгу, я как естествоиспытатель и исследователь древностей заглянул в удивительный старый зачарованный сад, где в бассейне с красиво бьющим фонтаном сразу же обнаружил диковиннейшую метровой длины рыбу — одинокого сома. Точно так же я увидел, установил и в романтическом

экстазе узнал садовый павильон в мавританском или арабском стиле, богато расписанный разными красками — небесно-голубой с таинственными звездами, а также коричневой и благородной, строгой черной. С тончайшим знанием дела я тотчас же вычислил, что этот павильон мог быть сооружен приблизительно в 1858 году, — такое умение выяснить, вычислить и вынюхать, возможно, дает мне право как-нибудь спокойно, с гордой и самоуверенной миной прочесть в зале ратуши, перед многочисленной и щедрой на аплодисменты публикой содержательную лекцию на эту тему. Ее, вероятнее всего, затем отметит пресса, что, разумеется, может мне быть только приятно, ибо она нередко много чего не устаивает и словечка, — такое уже случалось.

Пока я тщательно изучал персидский павильон, мысли мои потекли по такому руслу: «Как здесь должно быть прекрасно ночью, когда все вокруг объято непроницаемой тьмой, черно, безмолвно и беззвучно, высокие ели прозрачно рисуются во мраке, полночная жуть приковывает путника к месту, и вот пышно разодетая женщина вносит в павильон лампу, разливающую мягкий желтоватый свет, а потом, повинувшись прихотливому вкусу и странному движению души, принимается наигрывать на фортепьяно, которым в этом случае, разумеется, должен быть оснащен наш павильон, всевозможные мелодии, да еще очаровательным голосом петь, — уж мечтать так мечтать! — а путник слушал бы и грезил, и эта ночная музыка переполняла бы его счастьем».

Но была отнюдь не полночь, и вовсе не рыцарское средневековье, и никак не пятнадцатый и не семнадцатый век, а светлый, притом будний день, и кучка людей вкупе с одним из самых невежливых, нерыцарственных, беспардонных и нахальных автомобилей, какие я только встречал, внезапно нарушила гармонию моих ученых размышлений и во мгновение ока так резко оторвала от замковой поэзии и мечтаний о прошлом, что я невольно воскликнул:

«Вот с какой невероятной грубостью мешают мне здесь предаваться созерцанию изящного и уходить мыслями в глубь рыцарских времен. Но хотя у меня есть все основания сердиться, лучше проявить кротость и вежливо все стерпеть. Как ни пленительны мысли об ушедшей красоте и грации и бледный призрак былого благородства, это вовсе не причина для того, чтобы повернуться спиной к современности и современникам. Нельзя убеждать себя, будто ты вправе сердиться на людей и порядки за то, что они не замечают настроения человека, которому захотелось углубиться в историю и в размышления о прошлом».

«Гроза здесь, наверно, была бы величественна, — думал я, продолжая свой путь. — Надеюсь, что у меня будет возможность ее наблюдать».

Славную, угольно-черную собаку, лежавшую посреди дороги, я почтил следующей шутливой тирадой.

«Тебе — молодцу совсем не ученому и не развитому, наверно, и в голову не приходит встать и приветствовать меня, хотя по моей походке и по другим моим манерам ты мог бы сразу заметить, что перед тобой человек, целых семь лет живший в крупных, столичных

городах, где он ни на минуту, — не то чтобы на час или на неделю, на месяц, — не прерывал общения с людьми исключительно образованными и выдающимися. Ходил ли ты вообще в какую-нибудь школу, шелудивый приятель? Что? Ты и ответить не желаешь? Лежишь себе как ни в чем не бывало, таращишься на меня и даже ухом не поведешь, — монумент да и только! Ну и грубиян!»

На самом-то деле мне этот пес необычайно понравился своим простодушным, комичным спокойствием и невозмутимостью, и поскольку он весело глазел на меня, но, конечно, не понимал, что я говорю, то я мог позволить себе его побранить, однако это вовсе не было продиктовано злым умыслом, о чем достаточно ясно свидетельствует мой потешный стиль.

При виде весьма ухоженного, элегантного, неприступного господина, выступавшего чванной, кичливой поступью, у меня родилась горестная мысль: «Возможно ли, чтобы такой роскошно одетый господин, расфранченный и расфуфыренный, весь в украшениях и кольцах, лощеный, выутюженный и напомаженный, ни на секунду не задумался о жалких, бедных, заброшенных, плохо одетых юных созданиях, которые достаточно часто ходят в лохмотьях, обнаруживая огорчительный недостаток опрятности и плачевную запущенность? Неужели этот павлин нисколько не стыдится? Неужели этого господина Взрослого совершенно не трогает вид грязных неухоженных подростков? Как могут взрослые люди с явным удовольствием расхаживать во всевозможных украшениях, пока на свете существуют дети, которых снаружи ничего не украшает?

Однако с таким же правом, наверно, можно было бы сказать, что никто не должен ходить на концерт, посещать спектакль в театре или участвовать в каких-нибудь других увеселениях, пока на свете существуют тюрьмы и несчастные заключенные. Это бы конечно значило зайти слишком далеко, — ведь если кто-нибудь вздумал бы откладывать удовольствия до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться с бедностью и горем, то ему пришлось бы ждать невесть сколько — до скончания веков, до конца света и наступления серой ледяной пустыни, а тем временем у него совершенно пропала бы всякая охота жить.

Мне встретилась изнуренная, измученная, измочаленная работница, она еле держалась на ногах, но, явно усталая и ослабевшая, тем не менее торопливо шла, потому что ее наверняка ждало еще много неотложных дел, и при виде ее я невольно вспомнил балованных барышень и высокородных девиц, которые нередко маются, не зная каким бы изысканным аристократическим занятием или развлечением заполнить свой день, которые, должно быть, никогда не ведают честной усталости, зато целыми неделями раздумывают о том, как одеться, чтобы придать себе больше блеску, у которых времени хоть отбавляй, и они могут без конца ломать голову над тем, к каким ухищрениям прибегнуть, дабы их персону, эта нежная сахарная фигурка, красовалась во все более и более вычурных и болезненно утонченных нарядах.

Но ведь я и сам чаще всего выступаю любителем и поклонником таких вот благовоспитанных, предельно выхоленных, сотканых из лунного света прекрасных

девушек-былинок. Хорошенькая девчурка могла бы приказывать мне, что захочет, я бы ей слепо повиновался. До чего же красивое красиво, а пленительное пленительно!

Вот я опять подошел к разговору об архитектуре и строительном искусстве, при этом я коснусь и небольшого участка литературы.

Во-первых, одно замечание: когда старые прекрасные, величавые дома, исторические памятники и сооружения украшают дешевыми цветочками и другой подобной орнаментикой, это выдает крайне дурной вкус. Кто это делает или заставляет делать других, грешит против духа достоинства и красоты и оскорбляет память наших столь же храбрых, сколь благородных предков.

Во-вторых, пластику фонтанов никогда не следует увешивать и увивать цветами, — сами по себе цветы, конечно, прекрасны, но они существуют совсем не для того, чтобы заслонять и опошлять благородную строгость и торжественную красоту статуй. Вообще, пристрастие к цветам может выродиться в совершенно нелепую манию. Здесь, так же, как и в других отношениях, надо себя сдерживать. Некоторые лица, например магистраты и т. д., если они окажутся столь любезны и не сочтут это за труд, могут во всякое время получить разъяснения в авторитетной инстанции и поступать точно так, как им посоветуют.

Я хочу упомянуть две интересные постройки, с необычайной силой приковавшие к себе мое внимание, а потому сообщаю, что, продолжая свой путь, подошел к старинной часовне, которую тут же назвал часовней Брентано, ибо увидел, что она относится к опутанной фантазией, овеянной славой полусветлой-полутемной эпохе романтизма. Мне вспомнился большой, хаотичный, бурный роман Брентано «Годви». Высокие и узкие стрельчатые окна придавали оригинальному зданию вид необычный, привлекательный и изящный и сообщали ему проникновенность и обаяние духовной жизни. На память мне пришли пыльные, прочувствованные картины природы, принадлежащие упомянутому поэту, например описание германских дубовых лесов.

Вскоре после этого я очутился перед виллой с названием «Терраса», напомнившей мне о живописце Карле Штауфер-Берне,[16] который иногда жил здесь, и одновременно о некоторых превосходных и выдающихся зданиях, стоящих в Берлине на Тиргартенской улице, симпатичных и достопримечательных благодаря воплощенному в них величественному, строго классическому стилю.

Дом Штауфера и часовня Брентано представились мне памятниками двух четко отделенных друг от друга миров, оба они, каждый по-своему, привлекательны, интересны и значительны: здесь соразмерная холодная элегантность, там дерзкая проникновенная мечта. Здесь нечто изящное и прекрасное и там нечто изящное и прекрасное, но по сути и воплощению вещи совершенно разные, хоть и близкие одна к другой по времени.

Я продолжаю прогулку, а между тем мне кажется, что понемногу вечерет. Тихий конец, думается мне, совсем уже недалек.

Здесь, наверно, уместно будет назвать кое-какие будничные явления и средства передвижения. Однако по порядку: солидная фортепьянная фабрика наряду с некоторыми другими фабриками и предприятиями; аллея тополей вдоль реки с черноватой водой; мужчины, женщины, дети; вагоны электрического трамвая, их скрежет и выглядывающий наружу грозный предводитель или вожатый; стадо восхитительно-пестрых и пятнистых светлых коров; крестьянки на подводах и неизбежный при этом грохот колес и щелканье кнута; несколько тяжело, доверху груженных возов с пивными бочками; спешащие домой рабочие, хлынувшие потоком из ворот фабрики, — подавляющее впечатление от такой массы людей и изделий массового производства, странные мысли на сей счет; товарные вагоны с товарами, катящие с товарной станции; целый странствующий кочевой цирк со слонами, лошадьми, собаками, зебрами, жирафами, с запертыми в клетках свирепыми львами, с сенегальцами, индейцами, тиграми, обезьянами и ползающими крокодилами, с канатными плясуньями и полярными медведями и с подобающе многочисленной свитой в виде прислуги, артистического сброда, служителей; затем — мальчишки, вооруженные деревянными ружьями и, в подражание европейской войне, выпустившие на волю всех фурий войны; маленький озорник, распеваящий песню «Сто тысяч лягушек», чем он страшно гордится; дровосеки и лесорубы с тележками дров; две-три отборные свиньи, при виде которых неизменно живая фантазия созерцателя со всей возможной алчностью расписывает ему замечательно вкусное, аппетитное и дивно пахнущее жаркое, и это вполне понятно; крестьянский дом с изречением над воротами; две чешки, галицийки, славянки, лужичанки, а может быть даже цыганки, в красных сапогах с черными как смоль глазами и волосами, чей чуждый облик невольно приводит на память роман «Цыганская княгиня» из журнала «Гартенлаубе», действие которого, правда, происходит в Венгрии, но это едва ли существенно, или «Жеманницу», которая, безусловно, испанского происхождения, что вовсе не следует принимать так уж буквально.

Еще магазины: писчебумажные, мясные, часовые, обувные, шляпные, скобяные, мануфактурные, лавки колониальных товаров, москательные, бакалейные, галантерейные, булочные и кондитерские. И повсюду, на всем лежит отблеск закатного солнца. И еще: шум и грохот, школы и учителя, последние — с выражением важности и достоинства на лице; прекрасный ландшафт и воздух, кое-какая живопись.

И еще нельзя пропустить или забыть: надписи и объявления, например: «Персиль», или «Непревзойденные бульонные кубики «Магги», или «Резиновые каблуки «Континенталь» необыкновенно прочны», или «Продается имение», или «Лучший молочный шоколад», и, право, не знаю, сколько еще всякой всячины. Если вздумаешь перечислять до тех пор, пока все в точности не перечислишь, то конца не будет. Люди рассудительные это чувствуют и понимают.

Один плакат или вывеска особенно привлекла мое внимание. Она гласила следующее:

ПАНСИОН

или прекрасная столовая для мужчин рекомендует светским или по меньшей мере порядочным господам свою первоклассную кухню, а она такова, что мы со спокойной совестью можем сказать: наш стол потрафит не только самому избалованному гастрономическому вкусу, но и удовлетворит самый большой аппетит. Что касается слишком голодных желудков, то мы их насытить не беремся.

Предлагаемое нами кулинарное искусство отвечает наилучшему воспитанию, — этим мы хотели бы дать понять, что нам будет приятно видеть пирующими за нашим столом лишь воистину образованных людей. С субъектами, пропивающими свой недельный или месячный заработок и потому неспособными расплатиться на месте, мы никакого дела иметь не желаем. Напротив: в том, что касается нашей высокоуважаемой клиентуры, мы всецело рассчитываем на тонкое обхождение и учтивые манеры.

За нашими нарядно накрытыми столами, дразнящими аппетит и украшенными всеми видами цветов, обычно прислуживают очаровательные, воспитанные девушки. Мы говорим это для того, чтобы господа претенденты поняли, насколько необходимо выказать благоприличие и вести себя действительно красиво и безукоризненно с той самой минуты, как будущий господин пансионер переступит порог нашего престижного, респектабельного пансиона.

С кутилами, драчунами, хвастунами и гордецами мы решительно не желаем иметь дела. Лиц, полагающих, что у них есть причины считать себя принадлежащими к названному сорту людей, мы нижайше просим держаться как можно дальше от нашего пансиона — заведения первого ранга, и любезно избавить нас от своего неприятного присутствия.

Напротив: всякий милый, деликатный, вежливый, учтивый, предупредительный, любезный, жизнерадостный, но не слишком веселый, а скорее скромный, пристойный, тихий, однако прежде всего платежеспособный солидный господин будет у нас несомненно принят с распростертым и объятиями. Его наилучшим образом обслужат и обойдутся с ним превежливо и прелюбезно, — это мы обещаем со всей искренностью и надеемся неизменно соблюдать к обоюдному удовольствию.

Подобный милый, обходительный господин найдет за нашим столом такие изысканные и лакомые блюда, какие ему едва ли удастся сыскать в других местах. Наша изумительная кухня действительно создает шедевры кулинарного искусства, и возможность подтвердить это представится каждому, кто пожелает отведать наше угощение, а мы вас к этому всячески побуждаем и всегда горячо и настойчиво приглашаем.

Еда, которую мы подаем на стол, как по добротности, так и по количеству превосходит всякое мало-мальски здравое разумение. Самая буйная фантазия не в силах даже приблизительно представить себе те возбуждающие аппетит деликатесы, каковые мы обычно один за другим ставим на стол перед командами наших дорогих радостно изумленных едоков.

Как уже подчеркивалось, речь может идти исключительно о порядочных господах, о господах из лучших, и для того, чтобы избежать заблуждений, а также устранить сомнения, да будет нам позволено кратко изложить наше суждение по этому поводу.

В наших глазах порядочным господином в действительности является лишь тот, кого, можно сказать, прямо-таки распирает от утонченности и порядочности, тот, кто во всех отношениях лучше прочих простых людей.

Люди просто-напросто простые нам совершенно не подходят.

Господином из лучших, по нашему мнению, является лишь тот, кто вбил себе в голову превеликое множество всяких суетных пустяков и решительно убедил себя в том, что его нос гораздо тоньше и лучше, нежели нос любого другого хорошего и разумного человека.

В повадках господина из лучших четко проявляется именно эта подчеркнутая нами особая предпосылка, и мы на это полагаемся. Следовательно, человека попросту доброго, прямого и честного, но не выдающего никакого другого важного преимущества, мы просим и близко к нам не подходить.

Для тщательного отбора исключительно светских и положительно порядочных людей мы наделены сверхтонким чутьем. По походке, тону, манере завязывать разговор, по лицу и движениям, а особенно по костюму, шляпе, трости, по цветку в петлице, — есть он или нет, — мы определяем, принадлежит тот или иной господин к числу лучших или не принадлежит. Зоркость, какою мы обладаем на этот счет, на грани колдовства, отчего мы берем на себя смелость утверждать, что в этом отношении можем похвастать даже известной гениальностью.

Вот так. Теперь, стало быть, ясно, на какого рода людей мы рассчитываем, и если к нам заявится человек, по виду которого мы еще издали установим, что для нас и нашего заведения он не очень-то годится, мы ему скажем:

«Мы очень сожалеем и нам весьма прискорбно».

Кое-кто из читателей, возможно, возымеет некоторые сомнения в достоверности такого плаката и сочтет, что всерьез поверить в подобное трудно.

Возможно, что там и сям у меня случались повторения, но я хотел бы заявить, что рассматриваю природу и человеческую жизнь как столь же последовательное, сколь и увлекательное бегство от шаблонов, и это явление нахожу прекрасным и благодатным.

Мне хорошо известно, что кое-где встречаются охотники за новизной, развращенные неоднократно изведенными острыми ощущениями, падкие на сенсации и чувствующие себя несчастными, если они не могут чуть ли не каждую минуту усладить себя еще небывалым удовольствием.

В общем и целом постоянная потребность наслаждаться и пробовать все новые и новые яства представляется мне признаком никчемности, отсутствия духовных интересов, отчуждения от природы и посредственных или дефектных умственных способностей. Малые дети — вот кому надо все время предлагать что-нибудь новое, незнакомое, иначе они будут недовольны. Серьезный писатель никак не может чувствовать призвания к тому, чтобы заниматься накоплением сюжетного материала и быть расторопным слугой неумной алчности. Он с полным правом не чурается некоторых повторений, при этом он, разумеется, всегда и всемерно избегает частой схожести ситуаций.

Тем временем наступил вечер, и по красивой тихой дороге, вернее, по боковой дорожке, осененной деревьями, я подошел к озеру, где моя прогулка заканчивалась.

В ольховой роще недалеко от воды собрался целый класс школьников: мальчиков и девочек, и то ли священник, то ли учитель давал им на лоне вечеряющей природы наглядный урок естествознания. Я неспешно пошел дальше, и мне представились два различных образа.

Возможно, от охватившей меня усталости или по какой другой причине я подумал об одной красивой девушке и о том, как одинок я на целом свете, в чем ничего хорошего быть не может.

Упреки, которые я делал самому себе, догоняли меня сзади и преграждали дорогу вперед. На меня нахлынули неприятные воспоминания. Всевозможные обвинения против самого себя отягощали мое сердце. Мне пришлось выдержать тяжелую борьбу.

Пока я искал и собирал в окрестностях цветы — то в роще, то в лесу, — начал потихоньку накрапывать дождик, отчего этот милый край стал еще милее и тише. Когда я прислушивался к плеску дождя, тихо струившегося по листве, мне казалось, что кто-то плачет. Как приятен такой теплый, слабенький летний дождик!

Мне вспомнились мои старые, давно минувшие прегрешения — измена, упрямство, фальшь, коварство, ненависть и множество некрасивых, грубых поступков, дикие желания, необузданная страсть. Я отчетливо осознал, что многим людям причинял боль, ко многим был несправедлив. Под тихий шепот и лепет вокруг моя задумчивость усугубилась и перешла в печаль.

Прежняя жизнь предстала передо мной, словно спектакль, полный напряженных драматических сцен, предстала так ярко, что я невольно изумился многим проявлениям слабости, недружелюбия, а также черствости, которую я давал почувствовать людям.

И тут перед моими глазами возник другой образ. Я вдруг снова увидел одинокого, бедного старика, которого несколько дней назад видел лежащим на земле, — он был такой жалкий, бледный, больной, обессиленный, такой бесконечно несчастный, что это гнетущее зрелище сильно меня испугало. Этого изможденного человека я увидел теперь моими духовными очами, и мне едва не стало дурно.

Мне хотелось где-нибудь прилечь, а вблизи случайно оказалось уютное местечко на берегу, поэтому я, чувствуя сильную усталость, как мог удобнее расположился на земле, под надежной сенью раскидистого гостеприимного дерева.

Когда я окинул взглядом окружающее — землю, воздух и небо, меня охватила печальная, необоримая мысль, заставившая признаться себе в том, что я жалкий пленник между небом и землей, что все мы таким плачевным образом заточены здесь и для нас нет никакого пути в другой мир, кроме единственного, низводящего в темную яму, в глубь земли, в могилу.

«Значит, вся эта изобильная жизнь, эти прекрасные, яркие краски, радость бытия и человеческие отношения — дружба, семья и возлюбленная, ласковый воздух, в котором носятся веселые, увлекательные мысли, отчие дома, милые, тихие улицы, луна и полуденное солнце, людские глаза и сердца, — все это однажды должно исчезнуть и умереть».

Меж тем как я, лежа в задумчивости, про себя просил у людей прощения, мне снова пришла на ум та очаровательная юная девушка, у которой был такой детски-прелестный рот и такие пленительные щеки. Я живо представил себе ее телесный облик, восхищавший меня своей мелодичной нежностью, но также и то, как недавно, когда я спросил ее, верит ли она, что я искренне ей предан, она с сомнением и неверием опустила свои прекрасные глаза и сказала «нет».

Обстоятельства вынудили ее уехать, и она от меня ускользнула. А ведь я наверно мог бы ее убедить, что у меня честные намерения. Я должен был успеть сказать ей, что моя привязанность к ней совершенно непритворна. Было бы очень просто и единственно правильно откровенно признаться ей: «Я вас люблю. Все ваши заботы близки мне, как мои собственные. По причинам высокого и нежного свойства мне очень хочется сделать вас счастливой». Но я больше не предпринял никаких усилий, и она уехала.

«Не затем ли я собрал цветы, чтобы возложить их на свое несчастье?» — спросил я себя, и букет выпал у меня из рук. Я поднялся, чтобы пойти домой, потому что было уже поздно и совсем стемнело.

Коммерсант © Перевод Ю. Архипова

«Отче наш, иже еси и на небеси! Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Так молился мальчик в постели. Он изнемог от рыданий матери, вот и решил прочесть вслух «Отче наш». «Ты молись, молись, это хорошо», — сказала мать сквозь слезы. Она была в отчаянии — надеяться было не на что. Судьба обошлась с ней жестоко, не оставив надежд. Декабрьский ветер завывал и свистел вокруг их ветхого дома, расположенного на окраине. Неподалеку полыхал охваченный пожаром дом, алым заревом высвечивая предметы в ночи. Мальчик, сложив руки для молитвы, лежал на

кровати, радуясь уже и тому, что его бедная мать к нему обратилась. Юная душа его воспряла. Читая молитву намеренно громко и отчетливо, он хотел утешить мать в ее безутешном горе. В комнате, то есть в их спальне, темно. В смежной комнате горела лампа, там сидел старший сын. Отец был в конторе, то есть в комнате, которая служила ему конторой. Его, коммерсанта, преследовали постоянные и тяжкие неудачи.

Удар за ударом сыпались они на него, а значит и на семью, сотрясая их семейную жизнь. Его бедная жена, женщина от природы гордая и чувствительная, не выдержала и заболела. Казалось, ничто не может ее больше утешить. «Ты, ты во всем виноват», — не раз сквозь рыдания говорила она мужу, в глубине души сознавая, что не права. Запал раздражения толкал ее так говорить, хотя она знала, что муж ее человек хороший — надежный и добрый. Просто ему не везло, а уж где невезенье, там и нужда, от которой — так несправедливо все устроено в жизни — страдали и родители, и дети. А где нужда, там и семейная жизнь не в радость. Мать хорошо знала, что отец честно делал, что мог, лез из кожи вон — и все из любви к жене. Но нагрянула беда и смяла, перекорежила все хорошее и прекрасное в их жизни. Мальчик, читавший под вопли матери «Отче наш», чувствовал, что родители глубоко несчастны, потому-то он и молился.

Коммерсант, о котором идет у нас речь, был многодетным отцом. Человек он был славный, порядочный, честный, с людьми приветливый, но вот отвернулось от него счастье, и все достоинства его померкли. История препечальная. Неудача, как владыка, приходит со свитой. Она меняет характер, покрывая врожденную доброту тяжелым слоем неудовлетворенности жизнью. Она ожесточает душу, поначалу полную любви, юмора и тепла. Сестра неудачи — нужда — и самый легкий нрав обрекает брюзгливости и занудству. Неудачник теряет привлекательность, а с ней и чувство уверенности в себе. И вот уж выползают откуда-то пороки и недостатки. Неприязнь, озлобление и свара проникают в семью, главу которой не приветил успех. Не улыбнулась ему удача — и нет ему ни сочувствия, ни почтения ни от жены, ни от детей. Так и было с нашим добряком. Попреки жены и детей стали ему жестоким и несправедливым приговором. Раз дошло и до безобразной сцены. Коммерсант, вконец измотанный борьбой за существование, как-то не выдержал и в сердцах выругал сына. В ответ подросток, вспылив, сказал отцу такое, что ни один сын не должен говорить отцу. Вот ужасное следствие неудач и нужды, невезенья и неуспехов. Семья утрачивает единство и прочность, и в ней возникает брожение. «Что ты сказал? — закричал отец. — Ну уж я проучу тебя!» И бросился на сына, пытаясь его задушить. Больная мать сидела за столом, с ужасом глядя на происходящее, у нее даже не было сил вмешаться. Будто ее приковало к стулу. Но дочь бросилась между ними. Отец дико закричал, и не столько от гнева, сколько от отцовской печали. Отец и сын быстро выбились из сил, ибо такая противоестественная борьба изматывает скорее всего. «Нет, это добьет меня, добьет!» — стонал отец. Он был бледен и весь дрожал, опершись руками о стол, чтобы не упасть. Сын тоже почти задохнулся. «Вот что ожидает отца, у которого нет удачи в делах, — выдохнул коммерсант, — вот что услышит он, обманутый счастьем, от сына. «Несчастный!» — скажет сын отцу, и без того битому-перебитому ударами судьбы, отдавшему последние силы в борьбе с невезеньем,

чтобы уберечь семью от полного краха. О, природа, как ты допускаешь такое! Сын называет меня несчастным, потому что судьба была ко мне неблагосклонна. Ну, кто я после этого? Жалкий, беспомощный старикашка!» Он плакал. Сын тоже плакал. Оба были несчастны и жалки. Оба были совершенно надломлены горем и потому плакали. Они понимали, что поссорила их только нужда. «Прости меня, отец, милый, прости», — сказал сын. «Прости и ты меня, милый сын», — сказал отец. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал сын. «И я не хотел», — ответил отец. «Это все наше несчастье», — сказал сын. «Да, это оно», — ответил отец. «Мне очень жаль, что так вышло», — опять сказал сын. «Да ведь и мне тоже», — ответил отец. И они понемногу успокоились.

А пока тут отец с сыном схватывались в отчаянной рукопашной, пока изливали душевное горе, от которого вздрагивали их домочадцы, повсюду в кабаках сидели разухабистые мужчины, мололи языком всякий срамной вздор, проводя часы в тупых наслаждениях. В изысканных будуарах томились, изнывая от скуки, знатные дамы, образованные и беззаботные. Праздными речами сотрясали воздух члены разных фереинов. Скучала в своем особняке-дворце бездетная и богатая чета, не способная вникнуть в серьезность жизни. Баловала своего единственного сына боготворившая его мать, потому как обстоятельства давали ей эту возможность. Многие, многие люди не знали куда себя деть, разморясь от вальяжной скуки даровых благ. Транжирили, швыряли на ветер сотенные купюры. Родители совали в карман сыновьям изрядные деньги, чтобы только те могли показать, чего они, родители, достигли в жизни. А сочинитель сего писал тем временем эти заметки, чтобы показать, как велика безучастность людей друг к другу и как незначительна их солидарность.

Художник, поэт и дама © Перевод Ю. Архипова

В голой каморке, на чердаке или в мансарде, за некоей принадлежностью мебели, которая вовсе не заслуживала красивого названия письменного стола, сидел молодой поэт. Сочинял, предавался мечтаниям. Сочинять, фантазировать и мечтать — занятие, приносящее в иное время чрезвычайно мало профита, и поэт это знал. Знал, что занят делом отнюдь не доходным. И вполне осознавал отчаянную храбрость своего положения. Истинные поэты редко бывают разумными, хорошо знающими, что им потребна смелость, дабы сносить урон их достоинству, возникающий оттого лишь, что они являются тем, что они есть, то есть поэтами. Тот, что сидел тут под крышей, был, так сказать, распираем мыслями о самом себе. Голова его пухла от дум и накалялась, как пухла и накалялась, палила, пылала и пылила за окном летняя жара. Тяжкий, гнетущий зной заполнял и каморку. На столе лежал лист бумаги с начатой прозой. Время от времени поэт принимался мерить шагами свою келью или узилище, чтобы немного подвигаться, при этом он нашептывал стихи Клейста — упражнение, призванное вселить в него бодрость духа. Один весьма благородный, но, может быть, слишком трезво мыслящий человек глубоко осудил образ жизни поэта. Ну что ему было на это ответить? Жизнь поэта нередко становится объектом нападков и осуждений. В ответ он только пожал плечами и промолчал. Ничего другого ему и не оставалось. А теперь он сидел и размышлял о том, каким бы новым изяществом и красотами уснастить свою прозу. Его проза так же

поглощала его целиком, как добросовестного ученого — научное исследование, или как ремесленника его ремесло. Сколько на свете уже было таких вот маленьких, тесных каморок, в которых поэты точно так же правили свое ремесло. В дверь постучали.

Вошла женщина, которую поэт хорошо знал. Она жила в том же доме. Она была несчастлива, и поэт знал причину ее несчастья. Она не раз заглядывала к поэту, чтобы о чем-нибудь спросить его. Она приходила из-за человека, которого любила и который ее бросил. Им был один художник, и поэт не просто знал его, но был с ним в самых приятельских отношениях. Из-за него-то женщина и приходила. То есть она приходила к поэту не из-за того, что он поэт, а чтобы узнать у поэта что-нибудь о художнике. Она приходила к поэту не потому, что ее интересовала поэзия, но и не потому, что ее как-то особенно интересовала живопись. Нет, она приходила только из-за художника, и потому, что знала, что они друзья.

«Что он? Как он? Пишет ли вам? Что он вам пишет? Он счастлив?» Так она спрашивала. Поэт, досадуя, что ему помешали, отвечал:

«Да, он мне пишет. Изредка. Счастлив ли он? На этот вопрос коротко не ответишь. Вероятно, счастлив в какие-то дни, а в какие-то несчастлив. Вероятно, так, как это обычно бывает у людей. Он пишет, что работает много, как лошадь. Пишет, что не сдается».

«Мне он не пишет», — сказала она.

Поэт молчал, внимательнейшим образом разглядывая французскую сигару, словно для него не было в эту минуту дела важнее, как только узнать, какой она марки.

Через некоторое время женщина сказала: «Он, наверное, развлекается в обществе красивых женщин, наслаждается жизнью».

«И это возможно, — сказал поэт, — отчего бы иногда и не развлечься? Не может ведь он всегда оставаться серьезным и только и знать что свою работу. Конечно, его тянет иной раз отдохнуть и отвлечься. Думаю, что он это делает, и вполне понимаю его, — та борьба, которую он ведет, нелегка, и некоторая передышка может пойти ему только на пользу. Вечное усердие и трудолюбие отупляют. Это знает каждый, в особенности тот, кто добросовестно делает свое дело».

«Вам он пишет, а мне нет».

Поэт возразил: «Вы вынуждаете меня на откровенность, а она жестока. Вы можете сказать, что я груб, — пусть. Я понимаю, что вы страдаете, милостивая государыня, но я понимаю и страдания художника, его тоску и мытарства, ведь он мой товарищ по борьбе, он мой союзник и друг. Я разговорился, мне теперь уж не сдержаться и вы должны будете либо простить мне, что я причиняю вам боль, либо не простить мне этого никогда. Вы вольны выбирать. Знаете, почему он теперь пишет мне, а не вам? Для меня это яснее ясного. Может ли он написать вам о том, что ему теперь всего дороже? Он не верит, что вы поймете его, и его недоверие оправданно. То есть вы понимаете, что он симпатичный и

обаятельный молодой человек, что у него красивые кудри и прекрасные манеры, что очень приятно любить такого человека и быть любимой им. И так далее. Все это вы отлично понимаете, но какой прок человеку, который напрягает там все свои силы в борьбе за свое существование, от вашего понимания? О таких вещах он теперь и думать не в состоянии. Вы видите перед собой только личность художника, но не догадываетесь о сложностях его существования. Вы не имеете представления о страданиях, которые он испытывает, об опасностях, которые его подстерегают. Вы ничего не знаете о его работе и о том, каких усилий она от него требует. Его художнические радости так же чужды вам, как и печали. Самые сильные и самые нежные движения его души вам неведомы. Мне же они открыты, и он знает это. Он знает, что мне знакомы и страдания его, и стремления, и наслаждения, и муки, — вот он мне и пишет. Мы ведем обычную для художников переписку — без сюсюканья, выкрутасов, излишней. В письмах мы бываем циничны и ядовиты, но мы знаем этому цену. Мы всегда точно представляем себе, о чем идет у нас речь. Он знает, что я пойму его с полуслова, что мне достаточно и намека. Товарищам не нужно тратить много красивых фраз, чтобы понять друг друга. Вы, милостивая государыня, понимаете, что такое любовь, но художник становится тем, чем он должен стать, благодаря не любви, а работе, а что такое для вас работа? Его работа для вас ничто, не так ли? Она интересует вас меньше всего на свете. А для него она сейчас главное. И поэтому он пишет мне».

«А вы ведете здесь жалкую жизнь поэта», — сказала она с презрением, желая покинуть чердак с чувством гордого превосходства.

«Я горжусь этой жалкой жизнью поэта и рад ей, — сказал он, — но и в этом вы решительно тоже ничего не понимаете. Я счастлив сидеть в этой невзрачной каморке, похожей на тюремную камеру. Но вы, по гордости своей, не можете даже допустить, что такое бывает. Здесь я могу быть самим собой, а выше этого нет ничего. Вам понятны прелести внешнего лоска и почтительного внимания окружающих, но вы не можете понять, как это прекрасно — казаться бедняком, а на самом деле обладать несметными сокровищами души, ощущениями и чувствами самоотдачи, мужества, чуткости, исполненного долга. Ведя эту жалкую жизнь поэта, я выполняю свой долг и нахожу в этом радость, но вам этого не понять».

Женщина ушла, а поэт снова принялся за свою работу.

Немецкий язык © Перевод Ю. Архипова

Некогда был он велик и властен, его взор, его жесты были полны могущества, но прошло время и он опустился, махнул на себя рукой и стал безобразен. Его сделали изъяснительным средством банальности, и он стал посмешищем всего мира. Он скрючился, ссохся. Бывший образец превратился в образину. Роскошное дерево зачахло, но не перестало нравиться себе, вот в чем был весь ужас. Позорищу не было видно конца. Иные уж полагали, что старик умирает, и они были правы. Он был при смерти, едва дышал. Никто не верил, что он вновь окрепнет. Его охрипший голос утратил свое обаяние, звучал

сухо, деревянно и глупо, прислуживая одним лишь дерзостям и издевкам. Он был настолько невыносим, что внушал отвращение всем, кто его слышал. Да, он болен, повержен ниц, однако есть люди, которые по-прежнему его любят, хранят ему верность, ибо верят в то, что он неистребим и еще возродится во всей своей красе. Незримые, в тихих потемках они ухаживают за ним, надеясь на выздоровление. И, конечно, он еще встанет, и по сочной, пахучей весне зацветет, защебечет, как весенние птицы. Нужно только дожждаться, и верующие да запасутся терпением. Теперь он выдохся и увял, теперь он поблек и слова его тусклы. Однако, ныне недвижимый, он еще будет бодро скакать и приплясывать, как бывало. Дайте срок — и он возродится. Он заплутал и плачет, но еще выберется на дорогу и радостно засмеется. И будет тогда как летний сад и как воскреснувшее солнце, а вокруг него воцарятся веселье, довольство и сила. И естественность, и нежность. Тогда он будет самым собой и все ему будут рады. Благим ветром пронесется он над освеженной землей со всем, что ни есть на ней. Побитый и павший, он возликует. И будет упоен и утешен тот, кто его услышит. А я, может статься, буду сидеть на траве под елью, внимая ему всем сердцем и его прославляя.

Притча о блудном сыне © Перевод Ю. Архипова

Если б некий селянин не имел двух сыновей, по счастью совершенно разных, то и не получилось бы никакой поучительной истории, то бишь притчи о блудном сыне, которая гласит, что один из двух, непохожих друг на друга сыновей, отличался крайним легкомыслием, в то время как другой стяжал славу самого благоразумного человека на свете.

Если один из них рано ринулся, так сказать, в атаку, то второй, чистоплюй, окопался в доме, заняв своего рода цепкую выжидательную оборону. Если опять-таки первый скитался и мыкался на чужбине, то снова-таки второй предпочтеннейшим образом подремывал у домашнего очага.

Когда первый рвал что было мочи путы и бежал со всех ног, второй на диво упорно держался на месте, с невероятной дотошностью отдаваясь мороке должных обыкновений. Пока, вновь скажем, первый не нашел ничего лучшего, как плыть по волнам с помощью то пара, то паруса, тем временем опять-таки второй изводил свой ум на усердие, аккуратность, благопристойную пользу.

Когда беглый, или блудный, сын, коему притча обязана своим названием, постепенно убедился, что дела его — и возможно по справедливости — безнадежны, он принял, несомненно, весьма разумное решение возвратиться. Оставшийся дома и сам был бы рад принять когда-нибудь подобное же решение, но был навсегда лишен этой радости по той вероятной причине, что он, как известно, не покидал дома, а в нем оставался.

Если позволительно предположить, что беглец всерьез раскаялся в своем бегстве, то ведь не менее позволительно предполагать или думать, что оставшийся дома раскаивался в своей домаоставленности глубже, чем думал. Если блудный сын страстно желал бы никогда не блуждать, то второй, то есть тот, кто и не блуждал вовсе, не менее, а может

быть, более страстно желал бы не оставаться постоянно дома, а уйти бы однажды да поблуждать на просторе, чтобы потом, накопив тоску и смирение, вернуться домой.

Поскольку блудный сын, о котором все давно думали, что он сгинул, однажды вечером явился вдруг — в образе последнего ничтожества, в рубище и рубцах, но целехонек и невредим, то это походило на воскресение из мертвых, и на него естественным порядком обрушилась вся необузданная сила любви.

Бравый домочадец тоже был бы не прочь махнуть разок на тот свет да перемахнуть потом обратно, чтобы естественным порядком испытать на себе необузданный натиск любви.

Радость неожиданной встречи сердец, восторг столь прекрасного и серьезного события зажгли, осветили весь дом, вспыхнувший, как на пожаре, а все обитатели дома, вплоть до слуг и служанок, чувствовали себя словно на небе. Возвращенец лежал, простертый ниц на полу, и отец, конечно бы, поднял его, коли б достало у него сил. Старик так плакал и был так слаб, что домочадцы должны были его поддерживать. Блаженные слезы. Глаза всех были увлажнены, голоса дрожали. Окруженный столь многократным участием, такой искренностью любящего понимания и прощения, грешник должен был чувствовать себя святым.

Вина в столь сладостный час равнялась награде любовью. Все смешалось, говорило, улыбалось, махало руками, кругом видны были счастливые, хоть и заплаканные глаза, слышны были сердечные, хоть и серьезные слова. Радость мощным снопом света высветила все углы, не оставив ни малейшей тени, ни пятнышка в доме, непрерывно питая собой и самое слабое свечение, и самый тихий отблеск.

Вряд ли можно сомневаться, что предметом столь большой радости желал бы стать некто другой: не ведая за собой никакой вины, он желал бы провиниться. Не вылезавший из приличнейшего платья желал бы, в виде исключения, примерить рубище и лохмотья. Весьма вероятно, и он жалким голодранцем охотно распростерся бы на полу, чтобы отец пожелал поднять его. Не совершивший никакого проступка, он, возможно, желал бы стать несчастным грешником. При столь милостивых обстоятельствах быть блудным сыном одно удовольствие, но в этом удовольствии ему отказано навсегда.

Посреди всеобщего веселья и довольства неужто оставался кто-нибудь хмур и невесел? Да, это так! Посреди сплотившей всех радости и согласия неужто оставался кто-нибудь одинок в своей злобе? Да, это так!

Что стало с прочими действующими лицами, я не знаю. Весьма вероятно, они мирно почили. Однако наш чуда-тоскливец еще жив. Недавно он был у меня, мялся и тушевался, намекая, что имеет отношение к притче о блудном сыне и что больше всего на свете он бы желал, чтобы она не была написана. На мой вопрос, как все это понимать, он ответил, что он есть тот, кто остался дома.

Меня ничуть не удивили терзания этого чудака. Его раздражение было мне безгранично понятно. Ведь я никак не считал притчу о блудном сыне, в которой ему досталась откровенно незавидная роль, историей сколько-нибудь утешительной и занятой. Более того, я был убежден как раз в обратном.

Двое © Перевод Ю. Архипова

Из двух мужчин, которых мне тут хочется сопоставить, один с шестнадцати лет был полностью предоставлен самому себе. Он был свободен, как ветер, и, как птица, мог вольно править свой путь. Отец объявил ему, что он уже взрослый, что он не может больше тратить ни гроша на его содержание, учебу, образование. Быть сыном неимущего отца — сколько в этом прелести, сколько очарования! Конечно, образование твое будет при этом не без изъянов, зато — бог мой! — какой необозримый и светлый откроется юному взору горизонт свободы! Бедному отцу было куда как по сердцу, что сын его сызмальства выпорхнул из гнезда поискать счастья в мире. О развитии своем и прочих подобных вещах прекрасного толка сын при этом не думал. А думал о том, как найти ему кров да прокорм, как не пропасть и не сгинуть. Неумоимо и браво перепрыгивал он с места на место, с работы на работу, меняя одно незавидное положение на другое, не лучше. Жило в душе его нечто, заставляющее его быть бродягой, нимало не заботясь об общественном мнении. Неимущему ветрогону мир казался таким прекрасным и добрым. Никаких сомнений в том, что в недрах мира таится вечная, неистребимая доброта. Земля, воздух, дома, леса, луга и голубое небо представлялись юным очам райской картинкой.

Людям богатым и знатным он изумлялся с детской простотой, всякой женщиной безгранично восхищался с первого взгляда, однако довольно быстро забывал о том, чему только что поклонялся, поскольку на причудливом и запутанном пути его попадалось столько всего нового, божественно прекрасного, достойного пылкой любви. Звездные ночи он любил так же нежно, как ночи беспроглядно беззвездные, а дождливые дни нравились ему ничуть не меньше, чем дни сияющие, голубые. Изящество, роскошь пьянили его. Красоту он боготворил. Угрызений зависти не ведал, ни за что на свете не хотел бы он сам быть богатым, элегантно одетым, безупречно изысканным. Нет, он был простак по натуре, но простак смышленный и ловкий. Он не был ни тупицей, ни хитрецом, ни пронырой, ни тем, кого можно считать антиподом проныры.

Как бывал он счастлив, внимая музыке! В воображении он волшебным образом играл на скрипке. Лежа в солнечный день на густой зеленой траве в очаровательной тени какой-нибудь яблони или груши, он закрывал глаза, улета в пурпурную бездну, затыкал мизинцами уши, внимая божественной музыке, сразу начинавшей звучать со всех сторон. Девичьи глаза и губы нежно улыбались ему из дальней дали, а потом вдруг стремительно приближались.

Гражданский или государственный резон, мужские доблести или те, в которых требовался точный расчет, были, как он сам догадывался, не его областью. Если доводилось ему жить и дышать в большом городе, то он всей душой стремился как можно скорее выбраться в

какой-нибудь маленький. Маленькие городки обладали для него какой-то неотразимой притягательной прелестью, несмотря на известную узость в мыслях их обитателей. Служащий банка, кочующий ремесленник или студент, поэт и нищий, безусловно аккуратный, основательный бюргер и в то же время бродяга — вот кто он был. Его судьбой была бедность, в чем он, правда, не видел ни малейшей трагедии... Мечты и грезы были его главным занятием. Однако ж он не лишен был ни усердия, ни практичности, ни учтивости к людям. Он просил, когда испытывал в них нужду. Трогательно красивые и любезные нищенские послания, которые он направлял состоятельным людям, оставались всегда без ответа, что никоим образом не портило ему настроения.

Человек во многих отношениях старомодный, он легко мог бы жить под сенью церковного или дворянского водительства. Свобода предпринимательства оставляла его равнодушным, и он ею никак не пользовался. Раз два-три его решительно увольняли, потому что работал он слишком медленно и рассеянно. «Нет уж, ступайте куда-нибудь в контору», — говорили ему. А в конторе он в рабочее время любил рисовать, быстро выводя из терпения и без того не слишком терпимых начальников. Никакого усердия он не обнаруживал, а если и обнаруживал, то слишком редко.

Луна представлялась ему девушкой, миловидной, восторженной и изящной, ее прелести он молился. Он вообще все время чему-нибудь да молился, чему-нибудь или кому-нибудь. Бедный, затюканный люд из предместья, какие-нибудь лесники и крестьяне относились к нему с теплотой. И не раз бывало, что нищенки-старухи провожали его долгим взглядом, посылая ему сквозь привычную муку сердечный привет. Они сразу чуяли в нем человека незлобивого и доброго, надежного друга всякого бедняка и всякой пугливой старухи. Рыбак рыбака видит издалека, это уж точно. Вкрадчиво нежным бывал он, как ангел. А вот обижаться совсем не умел.

Однажды он порвал даже и с последней прочностью жизни, целиком предавшись литературе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поступок смелый, если не безрассудный. Да, то был риск, отважный и дерзкий. Не сошел ли он с ума? — спрашивал себя недавний банковский служащий. Укоры совести и раскаяние завладели им. Не без робости ступил он на кривую, темную, мало хорошего да много дурного обещающую, тускло освещенную, порождающую сомнения и страхи, скудно заселенную всякими перекаати-поле улицу цыган и художников, которая вела в тупик свободного и независимого поэтического творчества.

Жуткие призраки обступили оробевшего смельчака. «Если меня ждет провал, — сказал он себе, — то виноват в нем буду я сам, и все знавшие меня смогут по праву сказать: опрометчивость его погубила». Он сравнивал себя с безутешно плачущим, несчастным ребенком, выданным безжалостному пороку. А вокруг него словно бушевало тяжелое, неистовое, первозданно-неукротимое море. Жизнь замерла. На что опереться ему теперь? Не на что. На что надеяться, когда так мало привычного осталось поблизости? Но он

крикнул: «Только вперед!» — и с этими словами шагнул в неизвестность, где его поджидали слепой случай, опасности и при удаче крохотная награда.

Дух означал теперь для него все, материя — ничто. Как захотелось ему громко смеяться, визжать и скакать от восторга. Как горячо, как пылко любил он эту поставленную на карту, брошенную на весы жизнь. Откуда ни возмись явилась вдруг решительная осанка, и он радостно, бодро двинулся в путь. Предоставим же ему по этому пути продвигаться, чтобы на некоторое время заняться другим человеком.

Этот другой получил безупречное воспитание. Сыну одного из крупнейших фабрикантов страны доступно любое учебное заведение. А поскольку он обнаружил разнообразную одаренность и ум, сумел развить вкус и суждение, а его положение в обществе и без того открывало перед ним любую дверь, то он уже в молодые годы оказался на немаловажном посту, дававшем ему вес и влияние, доход и способность понимать глубокие вещи. В самом облике его, спокойном и красивом, было что-то величественное. В качестве директора всемогущего во всем мире банка он легко, можно сказать играючи, делал миллионы. Не было привилегий, которые не ложились бы с покорностью к его ногам. В короткое время он стал столь же богат, сколь знаменит; его служебные успехи могли соперничать с успехами в обществе, где он задавал тон и был всеми любим.

Окруженный людьми, глубоко почитающими его по разным соображениям, он однажды с гордостью светского человека заключил, что должность, которую он занимал, впредь будет не трамплином, а тормозом для его карьеры. Полностью отдавая себе отчет в том, что накопленное богатство в дальнейшем будет умножаться само собою, автоматически, он красивым жестом и с вообще-то замечательным удовлетворением сложил с себя полномочия директора, чтобы повести независимую жизнь богатого, ни в чем не нуждающегося частного лица. Никакими опасностями ему этот шаг не грозил.

Несметные суммы позволяли их владельцу вести жизнь на необыкновенно широкую ногу, предпринимать путешествия в дальние страны, устраивать шумные празднества, строить или покупать готовые виллы. Среди прочего, в шикарном, окруженном лесами районе на окраине столицы он построил себе загородный дом по собственному чертежу. Быть может, ему не давал покоя пример Фридриха Великого, который, как известно, несколькими гениально смелыми штрихами собственноручно начертал на уцелевшем клочке бумаги замысел Сан-Суси.

Рассказывая об этом, как-то невольно вспоминаешь о том, сколько еще семейств в пять, а то и восемь человек ютятся, терпя крайнюю нужду, в тесных углах и каморках. Вероятно, вспоминал иной раз об этом и богатый одинокий человек. Во всяком случае, остережемся делать по его адресу обидные замечания, полагая, что нам, беднякам, прилично соблюдать особую гордость. Так что станем держаться приятного и любезного тона. Будем снисходительны и беззлобны, грубые выходки нам не к лицу.

Недовольство собой по временам весьма ему досаждало. Благородная натура его подчас роптала и бунтовала против благ, которыми он наслаждался. Кое-какие немудреные

мысли, бывало, мучили его неотвязно. Простые истины действуют иной раз как соль на раны. Подчас он всем сердцем ощущал неправоту, несправедливость того обстоятельства, что материальное положение его было в тысячу раз лучше, чем у тысячи его сограждан. Его богатство не давало ему полного удовлетворения, слишком живо в нем было чувство равенства, братства. Он не чужд был мечтаний о том, чтобы восторжествовала идея общности и миром правила доброта. Любовь к справедливости была у него врожденной. Быть надменным и черствым он не мог, потому что обладал обширными знаниями. Как-то довелось ему наблюдать сверкающий пенистый вал водопада, чье восхитительное несмолкаемое ярение он мысленно сравнил с людской любовью, тайное кипение которой никогда не остановится в мире. В другой раз его глубоко взволновала простая, с душой спетая работягами народная песня. Нередко то, что он наблюдал, ранило его душу. Быть может, низ притягивал его оттого, что он понимал: красота, вырастающая из натиска, неутомимости и нужды, навсегда останется для него недоступной. Втайне он признавал, что его жизни не хватает огня, признавал, что существует некий аромат значимости, который столь сладок, что его не купишь за деньги, который мог бы сделать счастливым, но ему его не найти.

Так и не насладиться никогда наслаждениями, даруемыми землею, корнями, соками жизни, — неизбывная пасмурная тень на его жизни. Он в тоске перечитывал Готфрида Келлера, чье упругое письмо доводило его до экстаза. В роскошном своем автомобиле он объездил немало глухих, забытых богом уголков, но хоть и случалось, что та или иная местность или причудливо копошащийся на ней людской муравейник действовали на него оживляюще, однако от одиночества они не спасали.

Высокопоставленные и отменно любезные люди сумели устроить так, что на него обратил благосклонное внимание сам кайзер. С дозволения властелина он был представлен ему в самой непринужденной обстановке, на утренней прогулке по зоопарку; милость, которая, однако, как вскоре выяснилось, не имела последствий. Все же это и подобные ему происшествия были приятны.

Читая всегда много книг, он незаметно для себя начал и сам сочинять. И стал писателем. Тем временем сделался чем-то вроде писателя и вышеописанный невзрачный служащий банка. С несчастной сотней франков в кармане, составлявшей все его состояние, он дерзко явился в столицу, где, изведав немало бурных и смешных приключений, приковал себя в тихой комнатке к письменному столу и написал книгу, снискавшую довольно шумный успех. Мелкий служащий Меркурия на какое-то время оказался вовлеченным в сутолоку столичного общества, и таким образом вышло, что два столь разных человека на некоем клубном вечере познакомились и, учтивости ради, обменялись несколькими словами. Бывший директор банка с бывшим клерком был изысканно-предупредителен и любезен:

«Я дал вашу книгу, которая необыкновенно меня захватила, одной красивой даме, и та нашла в ней что-то могуче пролетарское. Она сказала, что автора увлекает за собой поток деталей, а вашу книгу назвала мастерской обыденности, отметив в ней избыток второстепенного при недостатке истинно значительного. Ее приговор показался мне и

несправедливым, и неверным по существу. Я возражал ей в том духе, что произведение искусства строится на продуманном многообразии, и что я весьма доверяю величию малого, в то время как внешняя помпезность куда как часто обнаруживала на моих глазах свою убогую посредственность».

Они больше не виделись, если не считать нескольких кратких пересечений с непрямым обменом обычных вежливых формул.

Богач приобрел замок, некогда принадлежавший королеве Луизе. Расположен он был в живописной местности и снабжен множеством милых безделок; так, в нем была презабавная, нежных тонов и со вкусом украшенная чудесными китайскими коврами чайная комната. Холмистый парк держал в объятиях былую обитель королевы.

Здесь проводил он время, предаваясь то умиротворенному самосозерцанию и не навязанным его уму занятиям, то прогулкам на свежем воздухе и наблюдениям веселой природы. Занимавшие его наука, политика и философия превращали его затворничество в жизнь, наполненную до краев. Принимал он и гостей. Однажды вечером к нему с неожиданным визитом пожаловал наш писатель. Очарование осенней погоды побудило их прогуляться. Невысокий лесистый холм предоставил им прелестные виды. Милая, застенчивая земля, словно улыбалась им из-под прохладной вуали.

«Могу я быть вам чем-нибудь полезен?» — спросил владелец замка.

Собеседник ответил: «Благодарю вас, но я не думаю, что нуждаюсь в опоре. Ведь в этом древнем мире так много нечаянных возможностей. Глаза еще не потухли, здоровые ноги несут на себе бодрое тело. Человек честный легко мирится со своим жребием, а бодрый настрой обещает мне больше, чем могут дать связи. Может, в ваших глазах, в глазах других людей я всего-навсего шалопай и рохля. Я, возможно, и правда несколько легкомыслен. Но легкомыслие — часть меня, и, верно уж, не самая дурная. А то, о чем я пытаюсь размышлять всерьез, что пытаюсь усердно постичь, должно остаться: моим собственным делом. Простите мою откровенность. Будьте постоянно полезны самому себе, ибо вы нуждаетесь в этом не меньше других, всем нам приходится туго, да так оно и полагается быть. Я же пускаю вперед мою душу, а сам иду следом и никогда, таким образом, не блуждаю, всегда точно знаю, кто я и что мне делать, а когда попадают на пути моем вещи, от которых делается смешно или хочется воспарить туда, где любому даровано утешение, то я радуюсь и бываю счастлив, а прочего мне не надо».

Может, аристократ позволил себе излишне снисходительный тон, может, бедняк был слишком высокомерен. Так или иначе, но что-то оттолкнуло их друг от друга. Хотя распрощались они сердечно. Жизнь, весьма вероятно, их более не сведет. Впрочем, случай такой возможен. А если и нет, то все равно — путь у них общий, направление одно, хоть и кажется разным, а то и вовсе противоположным. Одно и то же их окружит и обхватит. Одна тяжесть будет давить, покуда не прольется ограждающий свет с ясного неба и не освободит их из плена путаных устремлений.

Последняя новость © Перевод Е. Вильмонт

Сейчас я одеваюсь несколько лучше, чем прежде, ношу весьма элегантную шляпу, и веду себя тоже соответственно: аккуратно плачу за квартиру хозяйке, матери двух дочерей, близко знавших двух докторов философии. Оба эти господина в свое время оставили обеих дам, и теперь они изыскивают себе новые привязанности. Ах, до чего же скверные черты — черствость и вероломство!

Но что же тут нового? На днях я слышал доклад о Достоевском, где кроме всего прочего говорилось о ценности психиатрии для человеческого общества. Один проповедник высказался о сущности и вреде сектантства. В театре давали «Марию Стюарт», и там я случайно вновь свиделся с фрау Эльзой Хеймс.

Впрочем, здесь, в Берне, мне живется совсем неплохо. Конечно, я теперь уже не так независим, целый день работаю в конторе, а это значит: в некоем подобии склепа роюсь во всевозможных старых бумагах, письмах, сообщениях, предписаниях, уложениях, составляю списки и пытаюсь быть деловитым, ибо, на мой взгляд, это прекрасное качество, хотя и дается мне не без труда.

Но всего прекраснее то, что у меня чиста совесть. К тому же здесь я никогда не ощущаю недостатка в знаниях. А что до неприятностей, то у меня недавно ни с того ни с сего выпал прекрасный здоровый зуб, но, к счастью, это невеликое несчастье. Правда, теперь я вынужден разгуливать щербатым, но тем не менее разгуливаю я с удовольствием, особенно вечером, после рабочего дня, и в субботу после обеда.

Всякий раз, свежий и помолодевший, выхожу я на вольный ароматный воздух, и ничто меня больше не заботит, ибо я опять стал тем, кем был прежде, я чувствую себя счастливым, завожу легкие приятные знакомства, я принадлежу миру, а мир принадлежит мне, мир этот не имеет границ, и сердце мое не имеет границ, хотя оно не так уж и юно.

Что значат юность и старость рядом с возвышенной мыслью и той маленькой разницей между расплывчатостью чувств и бесконечностью природы?

Подснежник © Перевод Е. Вильмонт

Только что я написал письмо, в котором сообщил своему адресату, что с грехом пополам закончил роман. Объемистая рукопись лежит у меня в столе наготове. Уже придумано название и припасена оберточная бумага, чтобы упаковать и отослать мой труд. А еще я купил себе новую шляпу, которую пока что намереваюсь надевать только по воскресеньям или же в гости.

Недавно мне нанес визит пастор. По-моему, очень мило и правильно, что он не замыкается в рамках своих обязанностей. Пастор рассказывал мне об одном учителе, наделенном лирическим даром. И я решил в ближайшее время отправиться пешком по весенним лугам к этому человеку, который обучает деревенских ребятишек, да еще пишет

стихи. Мне представляется вполне естественным и даже прекрасным то, что учитель умеет глубоко чувствовать и воспарять к горным высям. Ведь в силу его профессии ему доверено самое важное — детские души! При сем я вспоминаю чудесную книгу или, вернее, книжечку Жан-Поля «Жизнь веселой учительницы Марии Вуц из Ауэнтала, своего рода идиллия», которую с наслаждением читал уж не помню сколько раз и наверно буду перечитывать еще и еще.

Но главное — опять наступает весна. И опять будут рождаться благозвучные весенние стихи. А как прекрасно, что уже не надо будет думать об отоплении. Толстые зимние пальто скоро отойдут в прошлое. Кому не в радость выйти на улицу без пальто! Слава богу, есть еще вещи, относительно которых все единодушны и согласны друг с другом.

Я увидал подснежники: в садах и на тележке крестьянки, спешащей на рынок. Я хотел было купить букетик, но подумал, что такому грузному человеку, как я, не пристало касаться столь нежных созданий. Как же они сладостны, эти первые робкие вестники чего-то такого, что любит весь мир! Ведь каждому по сердцу мысль о приближении весны.

Это пьеса из народной жизни, и за вход не берут ни гроша. Природа, небо над нами проводят совсем неплохую политику, даря прекрасное всем без разбору, и не какое-нибудь залежалое или порченное Прекрасное, нет, свежее и приятное на вкус. Подснежники, о чем вы ведете речь? Они говорят еще о зиме, но при этом уже и о весне; они говорят об ушедшем, но в то же время, смело и радостно, говорят и о грядущем. Они говорят о холодах, но вместе с тем и о наступлении тепла; о снеге и о зелени, о пробуждающихся растениях. Они говорят об этом и о том, они утверждают: в тени и на холмах еще довольно много снегу, но на солнце он уже растаял. Однако могут еще быть любые сюрпризы. Апрелью нельзя особенно доверять. Но долгожданная весна одержит победу, несмотря ни на что. Тепло вступит в свои права!

О разном шепчутся подснежники. Они вспоминают о Белоснежке, что нашла приют в горах у гномов. Вспоминают и о розах, потому что сами не похожи на них. Всё всегда помнит о своей противоположности.

Надо только красиво держаться. И добро победит. Добро — оно всегда ближе, чем мы полагаем. Терпение и труд все перетрут. Эта старая поговорка вспомнилась мне, когда я на днях увидел подснежники.

Стихи (II) © Перевод Е. Вильмонт

Я махнул рукой на вполне приличную службу и ушел изучать жизнь. Но то, что называлось жизнью, отпугнуло меня, я испытал горькое разочарование, плакал на чужбине над своей ошибкой и вернулся домой. Я был беден, так как лишился места, но тем не менее невероятно отважен, и чувствовал, что все у меня будет хорошо.

Как я начал сочинять стихи, я и сам толком не знаю. Читая чьи-то стихи, я вдруг подумал: надо бы и мне что-нибудь написать. Это бывает, как вообще бывает многое. Я частенько задавался вопросом, как же все-таки это началось? А началось это потихонечку-полегонечку и захватило меня целиком. Я едва сознавал, что делаю. Я вдохновлялся какой-то смесью золотистых надежд и пугающей безнадежности, постоянно пребывая между страхом и почти захлестывающим меня ликованием.

Изумительная вера, чудеснейшая радость рождалась во мне и заполняла меня; очень нелегко отчетливо это объяснить, но я все же хочу попытаться, поелику возможно, рассказать об этом по доходчивее. Совершенно новый мир открылся предо мной. То, что я увидел, было очень сурово, но в то же время поучительно и отраднo. Я снял комнату за городом, где поля и луга, подступающие к домам, и высоко взметнувшаяся в небо гора на горизонте, точно в «Божественной комедии», потрясли мое сердце и душу.

Природа, ее ясность и непостижимость, каждый день являлась мне во всей своей красе и величии, дабы я возлюбил ее, воспринял всей душой и был счастлив. Природа вливалась в меня, а значит, должна была вновь из меня излиться. Разве не было каждое утро для меня как откровение, разве не черпал я, так сказать, из первых рук, воскрешающую меня надежду и уверенность? Каждый час раскрывалась предо мной книга природы, и мир был моим учителем, учившим меня, как в нем найти себя.

Многое было мне еще неизвестно. И первые знания делали меня счастливым. Быть может, неведение и было самым прекрасным из того, чем я владел. Незнание возвеличивает. Я был как цветущее растение, загадочное для самого себя. Разумеется, тогда я был прекрасен, сегодня я это понимаю.

Редко я спал так крепко, чтобы не проснуться среди ночи и не думать о смысле жизни, покуда сама ночь не начинала музицировать и я переходил в нее, как переходит от нас к доброжелательно настроенному ближнему наше настроение, как сущность восходит к своему основанию.

То, что я ощущал и думал, было поистине прекрасно, самая незначительная мысль дарила меня радостью. Зачастую я вовсе ни о чем не думал — и это тоже было прекрасно. А так как я был безработным, то строчил запросы в торговые фирмы и в этом тоже находя для себя какую-то тайную радость. Все радовало меня.

Воспоминания о том времени необыкновенно милы моему сердцу. Каждый шаг тогда был наслаждением, каждое слово блаженством. О, сколь безоглядно я вдруг полюбил этот мир, эту жизнь, ничего в ней не обходя любовью, нет, всё без исключения казалось мне желанным! Я жил и даже ходил, как человек, который вправе сказать, что он наслаждается. А при этом я был очень беден и о том, что такое «весь белый свет», не знал ничего, или разве что понаслышке.

Стоило мне утром или ночью открыть окно или подойти к дверям, все мое существо переполнялось радостью. Ветер синими волнами накатывал на поле, колокола звонили, и все кругом было несказанно прекрасным.

Там, где я начинал как поэт, я начинал и как человек, я был словно бы новорожденный. Каждый день мир являлся мне обновленным, точно умирал на ночь, а ранним утром воскресал из мертвых. Я был свободен как никогда прежде и никогда потом. В те дни любая мысль была частью жизни, а любой живой образ — мыслью.

Чтобы прийти в восторг, мне не нужна была никакая реальность. Само ощущение жизни восхищало меня и рождало во мне любовь, сквозь все стены и ограды устремлявшуюся в бесконечность, к любому, первому попавшемуся объекту.

На улице, среди звона и грохота, меня охватывало ощущение покоя, словно я навек застрахован от неудач. Все кругом меня голубело, как реюющие флаги, алело, как девичьи губы, сияло юной радостью, как глаза и щеки ребенка. А потом я вдруг видел печать серьезности на смеющемся человеке, печать смерти — на живом. То туда, то сюда — в непрерывном движении; сверкающие дни походили на налитые спелостью плоды, и как прекрасно было то, что люди и дела их не стояли на месте.

Я видел не одно солнце, я видел множество солнц! Все прекрасное буквально ослепляло меня. Иногда я опускался на колени в своей комнате, и сложив руки, молил всевышнего не лишать меня своей милости. Не знаю, что я под этим подразумевал. В душе я смеялся над своими детскими причудами, но был вполне серьезен, вознося молитву. Молиться — это все равно что сочинять стихи. Каждое стихотворение — своего рода молитва. И еще я испытывал ни на что не похожую, особую радость от коленопреклонения и смиренной молитвы. Никто меня не видел. Я был свободен и потому мог в своем уединении вести себя так, как считал нужным.

Я помню каждую малость. Все, что тогда происходило вокруг меня, мило моему сердцу, и слова былого звучат в настоящем, точно утренний перезвон колоколов. Все было напоено и расцвечено любовью. Я как сейчас вижу перед собой кровать, стол, лампу, мелочи, которые ничего бы не значили, не будь с ними связана та радость, что пронизывала тогда все мое существо. Подчас наше величие зависит от мелочи, и я не могу забыть ни того, ни другого.

Комната моя была полна счастьем и тоской по справедливости. Мысли вновь и вновь, с упорством влюбленности, возвращаются назад, к тому времени. По вечерам я совсем иначе любил свой мир. На изгородях и дорожках пламенело заходящее солнце. Открыть окно, подставить грудь прохладному ветерку, все чувства, все ощущения принять как неизбежность истинного столкновения человека с желанием и необходимостью. Все это глубоко волновало мою душу, преисполняя ее нового, все более высокого доверия к миру.

Однажды ночью на дороге я увидел человека, которого принял за Иисуса Христа, хотя и знал, что он простой смертный. Но для меня он был высшим существом. Многое я

воспринимал подобным образом. Все было близко, хорошо знакомо и в то же время чуждо. Я и сам себя воспринимал странно, двойственно, так сказать, фигурально. Небо было не только надо мной, но и во мне. Как будто раньше я блуждал впотьмах, на ощупь, а теперь, очнувшись от смутного сна, обрел уверенность и ясность. Мне хочется хлопать в ладоши и кричать «браво», когда я думаю о том милом, нежном, чудесном времени. Те хрупкие и незыблемо прочные дни всегда со мной. Да, те часы дарят меня счастьем. Зеленые луга, неясные очертания Альп и домики — все становилось песнью, что звучала над холмами и долинами и, ликуя, словно бы воспаряла над обыденностью. Легкие и суровые ветра проносились над моей головой, как и над всем миром. Восходящее солнце пьянило меня. Будущее походило на море, а настоящее — на зеркало, в котором верно отражались веселье и красота мира. Какое-то чудо, возбуждавшее все чувства, звучало в воздухе, доносилось к нам с порывами ветра.

Ночью звучали звезды, словно пели песни, а луна кричала мне: ты должен взмыть из ограниченности в бесконечность, из тесноты в бескрайнюю ширь непринужденности! Я жил в состоянии восторга и упоения. Дух мой бодрствовал. Жизнь была всем и в то же время ничем, я привлекал ее к себе, целовал, выбрасывал прочь, точно она была чем-то второстепенным. Иной раз я пребывал словно бы вне себя, я летал вокруг себя, кружил над собой наподобие орла. Нельзя не упомянуть и о том, что иногда по утрам я позволял своей подруге уговорить меня просто съесть яблоко, вместо того чтобы распивать кофе, чинно и обстоятельно.

О, это было желание и наслаждение с утра и до поздней ночи! Однажды во сне меня поцеловала девушка. Ее поцелуй был сродни всем другим поцелуям, поцелуям солнца при свете дня и поцелуям луны, которую я любил и славил.

Не скрою, когда с наступлением сумерек я стоял у себя в комнате, прижавшись лбом к оконному стеклу, я не сознавал, как мне хорошо от этого. Ветви деревьев я сравнивал с детскими ручонками, которые тянутся к вам, словно бы взывая: ради бога! Ну ради бога! А потом — море тумана, и я, и стихи, часть которых рождалась тут же, а часть еще только зрела, стихи, еще не родившиеся, и те, другие, уже написанные. Всему, что я испытывал в связи со светом и любовью, я старался как можно проще и как можно скорее придать форму. Ведь с каждым вздохом могло что-то произойти, я мог что-то надумать, что-то постигнуть, выиграть. Поэт всегда как бы стоит перед невиданной манящей пропастью. Я падал во мрак, дабы вознестись к свету.

Как-то раз я шел по Вокзальной улице к одному банкиру, хотел лично представиться ему и поговорить о временной работе. Но поскольку я не смог быстро ответить, что такое «ульtimo», то меня отпустили небрежно-сочувственным мановением руки, и я опять мог ринуться к себе за город, в поля, чему был несказанно рад. «Ульtimo» означает «конец», прекрасное же казалось мне бесконечным, да так оно и было. Я в то время работал лишь по мере надобности в какой-то призрачной адвокатской конторе и мой высокопоставленный принципал горько сетовал на то, что я оставляю в ящике хлебные крошки. Незачем здесь прикармливать мышей — так мне было сказано. А еще я иногда

работал, уж не знаю, с успехом или без, в книжной лавке, доверху набитой книгами. Позднее я нашел постоянную работу в Институте финансов.

В то время я никогда не унывал. Я всегда был весел, всегда в необычайно приподнятом настроении! Да, это было чудесно!

Последний этюд в прозе © Перевод Е. Вильмонт

Вероятно, это мое последнее произведение в прозе. По разным соображениям я вынужден уверить себя, будто для меня, подпaska, сейчас самое время покончить с писанием рассказов и рассылкой их по редакциям, то есть отступить от очевидно непосильного для меня занятия. С легким сердцем я хочу оглядеться в поисках другой работы, дабы снискать хлеб насущный.

Что я делал на протяжении десяти лет? Чтобы ответить на этот вопрос, я вынужден, во-первых, вздохнуть, во-вторых, всхлипнуть, а в-третьих, начать новую страницу или даже новую главу.

Десять лет я непрерывно писал маленькие рассказы и новеллы, которые редко оказывались пригодными. Чего только не приходилось терпеть! Сколько раз я восклицал: «Никогда больше не буду писать и рассылать рукописи тоже никогда не буду!» Но иногда в тот же день, а иногда на следующий опять садился писать и отсылал в редакции новый товар, так что сегодня я и сам не понимаю тогдашних своих действий. То, чего я достигал рассылкой рукописей, не удастся повторить никому на свете. Это совсем особый случай, и он, в своей смехотворности, заслуживает даже расклейки на афишных тумбах, чтобы каждый мог подивиться моему чистосердечию. Ничего похожего никогда уже не будет. Создавая и выпуская на волю удобочитаемые рассказы, я проявлял неслыханную ретивость и неопишное терпение. Они разлетались из моей часовой, сапожной или портняжной мастерской подобно голубям из голубятни или пчелам из улья. Комары и мухи не жужжат и не летают взад-вперед прилежнее, чем летали взад-вперед мои рассылемые по редакциям рассказы.

Как поступали господа редакторы с теми грудями набросков, этюдов, статей и рассказов, которыми я их заваливал? Они читали их, обнюхивали, обшаривали глазами, принимали к сведению и складывали в свои ящики или хранилища, где рукописи оставались ждать своего часа.

Скоро ли наступал этот час? О нет! Скоро — никогда. Иной раз годы проходили до выхода в свет, а несчастный автор в своей мансарде рвал на себе волосы.

То, что я с радостью писал и гнал от себя прочь, складывалось в укромном месте и медленно старилось. Строчки, фразы, страницы горестно гибли в спертom воздухе ящиков, ссыхались и жухли. То, что я создавал свободно и весело, я сам заставлял стариться, вянуть, бледнеть и блекнуть.

Один раз по-юношески свежая, румяная, круглая красавица-новелла целых шесть лет провалялась на одном месте, пока совсем не иссохла. Когда она наконец выглянула на свет божий, иными словами, вышла из печати, я плакал от радости, как охваченный нежностью несчастный отец.

Чего только не переживает человек, вбивший себе в голову, что он должен писать прозу и рассылать ее по разным редакциям в надежде, что его вещи понравятся и прекрасно влезут в необходимые рамки! Спроси у меня совета кто-нибудь, кто намерен броситься в писание коротких рассказов, я сказал бы ему, что считаю его намерение в высшей степени неудачным.

Рассказы дневные и ночные, веселые и печальные, трогательные и изысканные, парадные и затрапезные, с финтифлюшками и без, — я непрерывно рассылал их по редакциям, исполненный надежд, а они оказывались непригодными, никогда или очень редко влезали в необходимые рамки и, как правило, никому не нравились.

Отпугнуло ли меня крушение надежд? Ничуть не бывало! Вновь и вновь я находил в себе мужество писать и отсылать, создавать и отдавать. На протяжении десяти лет я неустанно набивал доверху ящики, закуты, склады редакций, так сказать, бумажными припасами, отчего господа руководители покатывались со смеху.

Я затыкал все дыры своими прозаическими произведениями. У меня ум за разум заходит, когда я об этом вспоминаю. Министры тряслись от хохота, когда я вагонами отгружал свою прозу. Я отправлял целые товарные составы. То, что я выпускал в жизнь, лишь изредка встречалось благосклонно.

Там, где другие сохраняли ясность мысли и были, как говорится, умными с головы до ног, я был глуп с ног до головы и еще на метр выше. Там, где я был гол как сокол, другие, несомненно милые люди, утопали в роскоши и богатстве. По мере того, как я очищал и освобождал собственные ящики, я заполнял чужие. Заботясь о зияющей пустоте у себя, я ревностно пекся о пополнении запасов у милых и славных людей. О, как же потешались над наивностью отправителя боги и полубоги! Они даже частенько боялись лопнуть со смеху.

На одной странице — шалость, на другой — слезы. С одной стороны — великаны, с другой — карлики. Здесь — господа, там — холопы. Когда я робко осведомлялся, растут ли, здоровы ли и живы ли вообще мои чада, то в ответ слышал убийственное: «Вас это не касается!» Отца, значит, уже не касаются собственные дети, значит, о тех вещах и вещицах, которые я создавал в поте лица своего, мне нельзя даже заикнуться?

Однажды мне сообщили: «Ваши короткие рассказы затерялись в спешке и неразберихе. Не считите за обиду и пришлите нам новые ваши произведения. Мы намерены их снова затерять, чтобы вы могли снова прислать нам что-нибудь свеженькое. Будьте же по-настоящему прилежны. Не впадайте в излишнее уныние. Мы вам все-таки сочувствуем».

В ответ на это мне и пришлось воскликнуть:

— Никогда больше не буду писать, и рассылать тоже не буду!

Придал ли я новый блеск своей славе самого кроткого человека в мире, в тот же день или на следующий выбросив на ветер новые прекрасные рассказы? Осел по воле господу всю жизнь ходит навьюченный, и покуда в мире есть овцы, волкам унывать не приходится. Но я намерен и впредь быть безропотным, помалкивать и писать себе дальше симпатичные короткие рассказы. Спроси у меня кто-нибудь совета, стоит ли посылать в редакции прозаические произведения, я сказал бы этому человеку, что не стоит и что я нахожу его намерение смехотворным.

«Вам необходимо пережить что-то тяжелое! Я хочу отомстить вам, чтобы вы научились дрожать от страха и молить о прощении».

Так написал мне один из тех дервишей, которые распоряжаются благополучием и неблагополучием, как будто жизнь — карточная игра.

С грехом пополам дело сдвинулось с мертвой точки, из печати появилась тощая, бедная, взывающая о снисхождении маленькая нежная новелла, и тут я очутился перед новым затруднением — перед всегда недостаточно почтенной публикой. Я предпочел бы иметь дело бог весть с кем, и о только не с людьми, которые интересуются тем, что выходит из-под моего пера. Кто-то из них сказал мне:

— Неужели вам не стыдно выносить на суд общественности подобную чепуху?

Вот какую благодарность пожинают те, кто хочет зарабатывать свой хлеб, сочиняя прозу.

Я уже готов был радостно примириться с чем угодно, лишь бы не строить больше эти здания на песке. Наконец-то я свободен, я ликую, а если и не ликую, то смеюсь, а если и не смеюсь, то мне легче дышится, а если и не дышится легче, то я потираю руки, и коль скоро кто-то твердо вознамерился спросить у меня совета, то я скажу ему все, что сказал бы любому, кто попытался бы советоваться со мной в этом вопросе.

Само собой разумеется, в ясные весенние дни я писал веселую весеннюю новеллу, к осеннему сезону — желто-листопадную, к рождеству — рождественскую или белоснежно-метельную. Теперь я хочу все это бросить и никогда больше не возвращаться к тому, чем занимался на протяжении десяти лет. Наконец-то я подведу черту под этим поразительно огромным счетом, что, надо признаться, я не очень-то умею делать.

Стоило мне осмелиться разослать по редакциям свои истины и неистовства, как меня тут же отбрили:

— Разве вы не знаете, что свобода повсюду не слишком желанная гостья? Что каждый за каждым бдительно следит? Зарубите себе это на носу и радуйтесь, пока вас не трогают.

Да, дела мои плохи. Вне всякого сомнения. Раньше все было проще, раньше я время от времени просто давал объявление: «Молодой человек ищет работу». Сегодня я вынужден давать такие объявления: «Увы, уже не молодой, а стареющий, потрепанный человек молит о сострадании и прибежище». Времена меняются, и годы мои тают, как снег в апреле. Я бедный, немолодой человек, способностей которого как раз хватает на то, чтобы писать такую, например, прозу:

«Быстрее, быстрее, быстрее! Что со мной? Уж не с ума ли я схожу? Кем же мне быть? Мальчиком на побегушках? Я вполне считаюсь с такой возможностью. Быстрее, быстрее — раз, два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Весь день напролет я это слышу, и похоже, это будет звучать вечно. О, тут я издал вопль, яснее чем когда-либо осознав степень своей незначительности. Нет, человек вовсе не велик, он беспомощен и слаб. Ну да ладно».

Не то в двадцать одну, не то в тридцать восемь редакций отослал я «Быстрее, быстрее, быстрее!» в надежде, что это подойдет, но надежда не то двадцать один, не то тридцать восемь раз оказалась напрасной, и этот «страшный» рассказ нигде не имел успеха.

Тридцать или сорок суперменов отказались принять это несомненно выдающееся произведение. Более того, они решительнейшим образом отвергли его и мгновенно отослали мне обратно.

Один из диктаторов написал мне: «Mon Dieu, что это вам вздумалось?» Другой советовал: «Ах, может, вы пошлете ваш изумительный опус в «Венецианскую ночь»? Там будут чрезвычайно рады. Нас же мы просим милостиво пощадить и избавить от этого пяти- или шестикратного поторапливания».

Я послал «Быстрее, быстрее, быстрее!» в указанную газету; меня вежливейшим образом поблагодарили и ответили: «Ах, если бы вы могли поверить, что эта восхитительная вещь нам просто не подходит...»

Что не нравится одному, может прийтись по вкусу другому, подумал я и послал рукопись на Кубу, вот уж воистину незаинтересованная сторона! А лучше всего мне, наверно, забиться в угол и помалкивать.

Улица (I) © Перевод Е. Вильмонт

Я сделал шаг, оказавшийся бесполезным, и вышел на улицу взволнованный, оглушенный. Сперва я ничего не видел, и думал, что никто больше никого не видит, все ослепли, и жизнь замерла, поскольку все заплуталось в потемках.

Натянутые нервы заставляли меня особенно остро воспринимать окружающее. Передо мной высились холодные фасады домов. Чьи-то головы, чьи-то платья стремительно появлялись и тут же исчезали как привидения.

Я весь дрожал. Впечатления, одно за другим, хватали меня за горло. Я и все кругом шаталось. У каждого, кто здесь шел, был какой-то план, какое-то дело. Только что и у

меня была цель, а вот теперь я, без всякой цели, снова докапываюсь до истины и надеюсь хоть что-то найти.

Толпа, казалось, так и пышет энергией. И каждый прохожий похож на каждого. Все проносились мимо, мужчины и женщины. И казалось, все они преследуют какую-то цель, одну общую цель. Откуда они и куда спешат?

Один был тем, другой — этим, третий — ничем. Многие, совсем загнанные, живут без цели, и жизнь швыряет их то туда, то сюда. Доброта осталась неиспользованной, интеллект канул в пустоту, и другие прекрасные качества тоже малопродуктивны.

Это было вечером. Улица представлялась мне чем-то феноменальным. Ежедневно тысячи людей проходят здесь. Как будто нет других мест. Рано утром все они бодрые, вечером утомлены. И в который уж раз они ничего не достигают. Одна работа наваливается на другую, а трудолюбие часто расходуется зря.

Вот так я шел и вдруг встретился взглядом с чьим-то кучером. Я тут же вскочил в омнибус, проехал немного, прыгнул с подножки, зашел в ресторан перекусить и снова вышел на улицу.

Она текла и бежала очень размеренно. Во всем была дымка, была надежда. Знание людей разумелось само собой. Каждый о каждом сразу мог узнать почти все, но духовная жизнь оставалась тайной. Душа обновляется непрерывно.

Колеса скрипели, голоса становились громче, и тем не менее вокруг было странно тихо.

Я хотел с кем-нибудь поговорить, но не мог улучшить момент. Хотел обрести точку опоры, но не мог найти ее. Посреди безостановочного движения вперед мне захотелось вдруг тихо постоять. Множества и быстроты было слишком много, и двигалось все слишком быстро. Каждый избегал каждого. Поток неся, точно прорвав плотину, и устремился вперед, а там, дальше, растворялся в небытии. Все было призрачно, и я тоже.

И вдруг посреди этой гонки и спешки я увидел нечто невероятно медлительное и сказал себе: это нагромождение совокупностей ничего не хочет и ничего не делает. Они переплетаются между собой, не касаясь друг друга, они словно заперты во власти темных сил, но та власть, которой они облечены сами, сковывает их тела и души.

Глаза проходившей мимо женщины говорили: «Идем со мной. Уйди от этой сутолоки, брось это разнообразие, останься с той единственной, что сделает тебя сильным. Если ты будешь мне верен, ты станешь богатым. В толпе ты беден». Я уж хотел было внять этому зову, но людской водоворот унес меня прочь. Улица была слишком завлекательна.

Потом я вышел в поле, где стояла тишина. Совсем близко от меня промчался поезд с красными окнами. Издалека доносился шум, едва слышные раскаты грома — городской транспорт.

Я пошел вдоль леса, бормоча себе под нос стихи Брентано.[17] Сквозь ветви смотрела луна.

Внезапно неподалеку я заметил человека, он стоял неподвижно и, казалось, подкарауливал меня. Я обошел его стороной, стараясь не терять из виду, что его очень раздосадовало, потому что он крикнул:

— Да подойди же и взгляни на меня хорошенько. Я не то, что ты думаешь.

Я подошел к нему. Он был как все, только выглядел странно, и ничего более. И тогда я опять вернулся туда, где свет, где улица.

Листок из дневника (III) © Перевод Е. Вильмонт

С холодным возмущением, которое буквально сотрясает, а отчасти и смешит меня, но, впрочем, вполне меня устраивает, ибо свидетельствует о моей моральной высоте, я заявляю, что в маленькой европейской стране на военные цели ежегодно расходуется восемьдесят миллионов. До чего же жаль такую уйму денег! И разве не обязан каждый гуманист сожалеть о подобном явлении? С другой стороны, такие громадные расходы кажутся необходимостью, но, вероятно, сплошь и рядом выясняется, что необходимость эта мнимая, что люди просто поддались на обман? Я лично считаю, что государствам пора начать выказывать друг другу больше доверия. Государство все равно что человек, и оно может сказать себе — чрезмерным недоверием люди унижают себя. Точно то же самое можно отнести и к общинам, союзам, обществам. Сегодня все европейские страны унижены друг перед другом. И, на мой взгляд, это следует предать гласности. А теперь немного о другом. Мне вдруг пришло в голову, что мы слишком хорошо разбираемся в искусстве и слишком плохо в жизни. Отсюда возникает несоразмерность. Жизнь по-прежнему остается суровой, тогда как искусство становится чересчур разбросанным, разветвленным, слишком изысканным и сентиментальным. По-моему, всем нам было бы лучше, будь искусство более крепким и сильным, а жизнь более приятной и ласковой. Я читал, что в одном большом городе закрыли восемь крупных театров. А значит, многие актеры остались без куска хлеба и нуждаются в пособии. Сейчас в газетах можно вычитать много жалостных историй. Вчера я никак не мог выкинуть из головы эти восемьдесят миллионов, но я не теряю надежды, что сумею в конце концов справиться с этим наваждением.

В Чикаго негры устраивали собрания, требуя поднять во всем мире уровень жизни чернокожих. Это тоже газетное сообщение. Я люблю, чтобы к завтраку мне подали что-нибудь вкусное, например «Журналь де Женев», а здесь, на этих страницах, я сам создаю нечто вроде журнала. Меня это как-то очень бодрит. Наряду с этим, я должен признаться, что вчера в одной из здешних пивнушек наслаждался чешским пивом. Кружка обходится в сорок пять сантимов. Тут я обнаруживаю свою духовную мелкотравчатость, но мне она доставляет удовольствие. И уж само собой разумеется, заплатив за что-то, я всякий раз пересчитываю свою наличность. Может, во мне сидит, а вернее, из меня прет экономист? Кто-то высмеял меня, а я в ответ высмеял его, но слишком грубо, и тот человек признался,

что я сделал ему больно. Почему и дальше все должно так продолжаться? Неужто мы не можем оказывать друг другу хоть малую толику того внимания, в котором так нуждаемся? А потом я сидел в пивнушке как «увешанная золотом казачка». То, что я говорю, буквально срывается у меня с языка. Веселые люди плясали вокруг меня, я аплодировал им, а потом, на улице и дома, все еще смеялся над танцорами, которые, двигаясь в такт музыке, тем самым выказывали ей глубокое уважение и преданность. До чего ж это было забавно! Один ложился на пол и затем медленно-медленно поднимался. Это было до жути смешно, и при виде их мне казалось, что танцует вся Европа, все замечательное бедное человечество. Возвышенное и низкое, умное и неразвитое, просвещенное и пустое — все смешалось в причудливом танце, власть искусства связала их братскими узами. Я вообразил себе, что где-то далеко бьет копытами моя гнедая лошадка. Сколько радости доставила мне эта иллюзия!

И вдруг опять я вспомнил об этих восьмидесяти миллионах на оборонительные цели! Как же мы боимся друг друга! Неужели у нас действительно есть для этого веские основания? Кажется, да. Но ведь известно, что наше корыстолюбие, наш эгоизм, наша нетерпимость обычно обходятся нам втридорога. И так обстоит повсюду, и вряд ли это может измениться, если жизнь, людские души и нервы, сами люди, наконец, не хотят или не могут измениться. Я убежден, что войны сами зарождаются в лоне общества и являются на свет с огромными, бледными, бессмысленными, опухшими лицами. Война — ублюдок, полудевушка, полумужчина, наполовину нарушитель спокойствия, наполовину жертва этого нарушения; ублюдок в страхе мечется среди нас, самому себе отвратительный несносный ребенок сотысячелетней давности. Что касается меня, я не верю в пограничные и национальные конфликты; уж скорее я верю, что пограничные вопросы и принадлежность к той или иной нации всегда не более чем отговорка, что они всего лишь порождение нашей опрометчивости и недовольства. Ведь даже в мирное время мы постоянно «воюем»: молодые ничего не желают знать о стариках, здоровые — о больных, мужественные — о трусах, и один боится и презирает и восхищается и не понимает другого. А как повсюду пренебрегают просвещением, которое, иди оно правильным путем, могло бы сыграть решающую роль. Мы не обращаем внимания на себя и, кажется, даже не имеем на это возможности, ведь мы каждый год отдаем на защиту от предполагаемого врага восемьдесят миллионов.

Я сам себе представляюсь человеком задумчивым, но я научился и привык верить, что в задумчивости есть нечто прекрасное, что я нуждаюсь в ней, что она мне необходима, что она укрепляет мой дух.

Несколько слов о том, как писать роман © Перевод Е. Вильмонт

Что касается истинной величины романа, который явится отражением эпохи, то количество слов, фраз и т. д. не может иметь решающего значения, хотя подчас, вопреки очевидности, многим именно так и кажется. Что же до содержания, то вот что пришло мне в голову: каждый романист или писатель, или как он еще там себя величает, по природе

своей или в силу профессии — светский человек. У одного это свойство может быть органичнее, чем у другого. Но оно нередко бывает мнимым, и потому иной раз кажется, что писатель, светски менее одаренный, легче отваживается заводить светские отношения, нежели тот, кто действительно знает свет. Это происходит оттого, что истинно светский человек не любит, не считает хорошим тоном, или попросту приличным, выставять напоказ свои особенности, свои познания или взгляды, ведь истинно светскому человеку присущи сдержанность и благородное сознание своего долга, о чем человек несветский или принадлежащий к полусвету знает очень мало или вовсе ничего. Итак, бывают романисты, так сказать, малого духа, стремящиеся к грандиозности и великолепию, что при чтении, конечно, сразу же бросается в глаза и производит жалкое впечатление. Романист же великого духа ведет себя иначе, ясный, осторожный и великий дух прекрасного чувствует себя в скромном непритязательном окружении, ощущая или зная, что тем самым производит хорошее впечатление и оказывает прекрасное, даже возвышенное воздействие на читателя, если только тот способен воспринять книгу так, как хочет автор; такой автор стремится добродушно или с юмором вторгнуться в области, на которые обычно весело взирает сверху вниз. В известной мере он — обладатель состояния, которое не потрогаешь руками, он — нечто вроде настоящего богача. Помоему, каждая истинно добрая, хорошая, мирная и поучительная книга, каждый по-настоящему хороший роман не оставляет ощущения, будто автор перенапряг все свои душевные и творческие силы. В такой книге всегда есть недосказанности, которые можно принять за цветистость слога, есть аромат, есть изобилие, приятное нам. И вот, во имя непреходящей ценности их книг, я хотел бы посоветовать романистам — пусть лучше делают ничтожное значительным, нежели значительное ничтожным.

Совсем немножко Ватто © Перевод Е. Вильмонт

Сцена с деревьями и действующими лицами. Она изображает парк. Появляются: Равнодушный, Обманщик, Сентиментальный, Забавная особа.

Равнодушный: Уже сотни людей дивились моему абсолютному безразличию к их судьбам. Негодование, которое я вызываю, не причиняет мне вреда. Моя высохшая душа не приемлет ни друзей, ни врагов. Я ни человеколюб, ни человеконенавистник. Главное, я облачен в холодный драгоценный бархат, и если я сам себе кажусь большой, красивой, породистой кошкой, живущей только ради себя, то, вероятно, подозрения, о которых мне твердят кругом, вполне обоснованны, и это сравнение с кошкой справедливо. Жизнь для меня — столовая, где я столуюсь, вернее пирую один. Одна из наиболее выдающихся моих особенностей заключается в том, что я никогда еще не скучал. Члены мои, по всей вероятности, сделаны из вещества, напоминающего алебастр, впрочем, достаточно эластичный. То, что меня повсюду считают человеком в высшей степени невозмутимым и холодным, связано с моим характером. Я похож на свечу, пламя которой смеется над собой и горит всегда одинаково. Бесчувственным меня, пожалуй, не назовешь. А те, кто счел бы меня таковым, впали бы в вопиющее заблуждение. Но вот что во мне особенно уникально, так это то, что чувства мои бесчувственны, а бесчувственность исполнена чувств, и понять это скорее всего могу лишь я один. Если я вытяну руку, она начнет

существовать точно рука мумии, омертвев в застылой неподвижности, а мой лунный лик кажется насмешливым от написанного на нем высокомерного измождения и унылости. Разве сердце мое не подобно ледяному солнцу, а нервы мои — раскаленным проводам, которые не более чем фабричное изделие. И разве не царит отчуждение там, где я нахожусь? То, что я никогда не делаю ничего плохого и ничего хорошего, мне самому сплошь и рядом представляется чем-то ненатуральным, почти кукольным, но мое неучастие в жизни подобно огромному, прекрасному, сверкающему зеленью дереву, на фоне черно-синего неба моих представлений о том, что я — душевнейшая бездушность, что я — никогда не высказанное заколдованное слово, никогда никому не подаренный и никем не ощутимый смертельно-сладостный поцелуй, и самое судорожное, никогда не кончающееся усилие, и невыплаканные, окаменевшие слезы, что подобно жемчужинам катятся по моим щекам, производя одновременно меланхолическое и насмешливое впечатление, и, раненный стрелой, с жалобным криком падающий с золотых небес окровавленный голубь, порочное благочестие, гримаса отвращения, которую можно сравнить со складом, где штабелями сложены все радости и веселия живой жизни. Никогда я не был настолько отважен, настолько дерзок, чтобы ощутить сожаление из-за бесчисленных убийств, которые мне так нравилось совершать, убийств самого себя, хотя, возможно, здесь есть противоречия, ибо человек равнодушный вроде меня лишь исподволь может прийти к познанию столь светлого и великолепного празднества, к созерцанию триумфального шествия, во время коего люди, наблюдая радость, проснувшуюся после долгого сна, могут кое-что понять, а едва эта радость кому-то покажется тоской, после многоречивого периода бесплодия, зовущегося любовью, начинаются роды. Моя манера открывать и закрывать глаза напоминает открытие и закрытие занавеса во время представления изысканной и элегантной трагедии. О, если бы один-единственный раз в моей жизни я был груб, это послужило бы доказательством моей буржуазности. Кажется, Обманщик считает, что настал его черед говорить. А поскольку мне безразлично, заметят меня или нет, добьюсь я признания или не добьюсь, то вполне естественно, что я увлекся, а посему хочу заявить: я умолкаю. Будь я похож на тюльпан или розу, на гвоздику или на куст олеандра, от меня исходил бы аромат мечты и несбыточного желания увериться в том, что мое спокойствие и самообладание имеют хоть какой-то смысл и все же являют собой нечто более сложное, нежели приобретенная в юности привычка.

Обманщик:

Мне настолько полюбилась роль человека наивного и чистого сердцем, что каждая дама мгновенно верит мне и я сам нередко попадаюсь на удочку собственного притворства. Мои обманы — это мое счастье. Ни один самый искренний и прямой человек не может быть так галантен, как лжец. Мое искусство обмана, с моей весьма благоразумной точки зрения, приносит счастье тем, кто был бы вовсе не способен стать счастливым, будь я с ними честен. А посему я причисляю себя к весьма заслуженным людям.

Сентиментальный:

Делая вид, что посмеивается надо мной, Равнодушный жалеет себя, а жалея себя, сам над собой улыбается. Его улыбка — как картина, изображающая бескрайнюю степь, картина, в которой нет ничего, кроме блеклой, но высокой стоимости. Я принес домой цветы и составил из них пышный букет, который сродни отважному путешественнику, хотя тихо стоит на месте, точно юноша, околдованный, плененный видом своей возлюбленной. Цветы в вазе счастливы тем, что они сорваны во имя той, которая отклонила мои уверения в преданности, ибо то были потоки слов, клятвы и пылкость Сентиментального. Но я так и сияю от удовольствия. В тоске по той, что недовольна мною, скрыто целое море упоительного взаимопонимания и согласия с самим собой, но ей это неизвестно, а я еще больше люблю ее за это неведение. И вот опять цветы! Если бы кто-нибудь увидел, как я говорю с ними, меня сочли бы помешанным. Вот я склоняюсь над ними, вот отскакиваю от них, словно они, эти милые, невинные создания, внушают мне страх. Сентиментальность, как ты порой смешна! Но ты превращаешь меня в катящийся обруч, в летуче-светящийся мяч. Я — пуля, не ведающая ни досады, ни сомнения. Я дрожу, мерцаю от внезапных фантазий, которые вдруг осеняют меня без малейших усилий с моей стороны; они, эти фантазии, озорничают во мне, озорничают со мной, точно дети, которым, когда они играют, принадлежит улица, площадь, лестница, дом, — словом, весь мир. А играют ли со мной мои сентименты? Цвета цветов то обрадуют меня, то вдруг обидят, оскорбят, убьют, сломают; они то смущают меня, то придают мне сил. Но что же происходит? Что делает она в тот миг, когда понимает, что без такой, как она, Сентиментальному нет выхода, нет жизни, ибо без такой, как она, единственной, он не может быть сентиментальным, а не быть сентиментальным для него невозможно, нестерпимо, немыслимо. Отсюда следует: прав только я один, прав в той мере, что уже граничит с совершенством, и это надо усвоить тому, кто тщится хоть отчасти меня понять.

Забавная особа:

(вид у нее весьма торжественный)

Сентиментальный, ты понятен без дальних слов. Равнодушный куда более велик и значителен, чем ты. Над сентиментами смеются. Перед лицом равнодушия стараются держаться твердо и заглядывают в вечность, что не слишком-то приятно. Обманщик будит в нас негодование, впрочем, с примесью восхищения. Я же — сама скромность, я пекусь о равновесии души, а значит, и о равновесии всех черт характера. Мой дар быть забавной — добродетель, которую потому можно назвать великой, что она берет начало из источника убежденности в том, что ее никогда не признают истинной добродетелью. Главным образом надо мной смеются потому, что я выступаю всерьез. Многие полагают, будто это происходит невольно, тогда как здесь все дело в создании формы. Но моя профессия, мое призвание преимущественно заключаются в том, чтобы всеми силами стремиться заставить зрителя уверовать, будто я и в самом деле наивна. Я создаю иллюзию, словно бы самобытность и простодушие еще существуют. У людей есть все основания ликовать всякий раз, как я появляюсь перед ними во весь рост, тщательно неряшливая с головы до пят. И эта неряшливость — произведение искусства. Мой вид напоминает им нечто естественное, знакомое, к примеру бедного сиротку. Для них я восхитительна, но для себя

— ничуть, однако приличия ради я должна радоваться, что пробуждаю веселье, которое помогает мне снискать хлеб насущный.

Все четверо: взявшись за руки и выходя на авансцену

Мы больше похожи друг на друга, чем это принято думать, и отличают, отделяют нас друг от друга лишь нюансы. Все краски, звуки, слова, характеры — родственны. Благодаря тому что мы живем, мы похожи до мельчайшей черточки, вот только каждый из нас иначе подает себя, а следовательно, и воспринимается иначе.

Хозяева и служащие © Перевод В. Ломова

Я хочу, совсем немного, поговорить на тему «хозяева и служащие». Проблема эта глубоко врезалась в современную жизнь, которая, кажется, так и кишит служащими, а они иной раз упускают из виду это особое обстоятельство. Разве не спим мы порой с открытыми глазами, разве не бываем слепыми, будучи зрячими, бесчувственными, все чувствуя, разве не прислушиваемся, несмотря на отсутствие слуха, и не останавливаемся на ходу, когда никуда не идем? Какая чередá спокойных, солидных, благопристойных вопросов!

Эй, вы, истинные хозяева, подойдите-ка ко мне, чтобы я мог разобраться, как на самом деле выглядят истинные хозяева! Хозяин, на мой взгляд, это весьма ценная диковинка, и хозяин, на мой взгляд, это человек, который сплошь и рядом испытывает странную потребность позабыть о том, что он хозяин. Служащие отличаются тем, что с удовольствием воображают себя хозяевами, тогда как хозяева время от времени с оттенком вполне понятной зависти взирают на забавы и безрассудства служащих; ибо мне представляется несомненным тот факт, что хозяева одиноки, что они всегда правы, а следовательно, жаждут узнать, какова же на вкус и чем пахнет несправедливость, но этого им знать не дано. Хозяева могут приказывать и поступать как им заблагорассудится, служащие же — нет, и вследствие этого они постоянно жаждут распоряжаться, поскольку лишены такой возможности, в то время как хозяева, можно сказать, зачастую бывают по горло сыты своим начальственным положением и предпочли бы служить и повиноваться, нежели отдавать приказания, посему их собственное существование представляется хозяевам довольно однообразным.

«Как мне хотелось бы, чтобы на меня иногда накричали» — по-моему, такая мысль вполне может зародиться в голове того или иного хозяина, тогда как служащие ничего не знают о подобных, неисполнимых желаниях. Одного богатства недостаточно, чтобы быть хозяином, так же как служащему вовсе не обязательно быть бедным и несчастным. Напротив, по моему глубокому убеждению, хозяин потому и хозяин, что к нему обращаются с разными вопросами, а служащий потому и есть служащий, что он постоянно спрашивает. Служащий ждет, хозяин заставляет ждать. Подчас ждать бывает также приятно или даже еще приятнее, чем заставлять ждать, ведь для этого все-таки требуются усилия. Ждущий может позволить себе эту роскошь, не неся никакой ответственности за нее, он может, покуда ждет, думать о жене, детях или о возлюбленной и т. д., заставляющий ждать, конечно, тоже может себе это позволить, если захочет. Но

тут выясняется, что незначительная, казалось бы, фигура ждущего ни на минуту не выходит из головы у заставляющего ждать, что последнего конечно же тяготит.

«Вероятно, теперь этот зависимый от меня человек премило хихикает», — думает хозяин, и ему хочется поддаться почти безудержному хозяйскому гневу, а то, что подобный, абсолютно непостижимый вид гнева вообще возможен, объясняется щекотливостью хозяйского положения. Более того, хозяин должен быть чем-то вроде сверхчеловека, и все-таки он остается человеком, ближним, а потому: «К чертовой матери! — кричит он, словно бы испугавшись самого себя, — пожалуй, он уже довольно долго ждет, он вконец меня измучил своим терпением!» И хозяин нажимает на кнопку звонка, вернее, наносит удар этой кнопке и в мгновение ока осознать всю бесплодность попытки облегчить свое существование. Он нарочито грубо обходится с угодливым служащим, он готов как тигр накинуться на эту овцу, ожидающую от него только самообладания и умеренности, и вместо того чтобы наброситься и уничтожить это столь его раздражающее безобидное существо, хозяин в сердцах швыряет бумаги, которые, как ему кажется, слишком деловито взирают на него, ворошит их, словно они во всем виноваты, а служащий при этом и не догадывается, что творится с хозяином, которого оскорбляет то, что он способен на чувства, его обижает то, что он хотя бы изредка может быть несчастным, которого в глубине души почти губит мысль, что его считают губителем, а никакой он не губитель, он не хочет и не может им быть.

«Разрешите мне помочь вам». Какое зачастую несказанно прекрасное настроение овладевает людьми, пишущими эту фразу, и как невероятно портится настроение у человека, принужденного написать: «Я считаю, что то-то и то-то должно быть сделано».

Приказывать, повиноваться, все вперемешку; хороший тон имеет власть как над хозяевами, так и над служащими. Я, как служащий, предлагаю сделанную мною работу, и того, кто ее примет в расчет, в свою очередь считаю хозяином, и мне хочется, чтобы он почувствовал удовлетворение, чтобы он увидел и оценил возможность, какую я ему даю.

Мои соображения, конечно, наводят кое-кого на мысль, что я слишком глубоко вникаю в жизнь, ставшую, пожалуй, уж больно чувствительной. Отчего так получилось? Изменится ли это или все останется по-прежнему? Почему я об этом спрашиваю? И почему у меня возникает столько вопросов, незаметно, один за другим? Я, например, знаю, что прекрасно могу жить без всяких вопросов. Я и жил без них долго, ничего о них не зная. Я был открыт настежь, но они даже не закрадывались в меня. Теперь они взирают на меня так, будто я им чем-то обязан. И я, как и многие другие, стал очень чувствителен. Время чувствительно, точно ошеломленный, молящий о помощи человек. Вопросы тоже молят, они бывают чувствительными и нечувствительными. Чувствительность ожесточается. Человек, никому и ничем не обязанный, быть может, самый чувствительный и есть. Меня, например, обязательства ожесточают. Молимые молят молящих, которым этого не понять. Все эти вопросы, кажется, стали хозяевами, а те, кто пытается их разрешить, служащими. Вопросы выглядят озабоченными, будучи беззаботными, и заботятся, во всю хлопочут об увеличении количества вопросов, полагая, что те, кто на них отвечает, совсем

нечувствительны. Того, кого их появление ни на секунду не выводит из равновесия, они называют чувствительным. И если они подступают к нему разомкнутым строем, он их уничтожает. Почему многие из них этого недооценивают?

Что-то вроде рассказа © Перевод Н. Федоровой

Знаю: как романист я что-то вроде ремесленника. Рассказчиком меня никак не назовешь, это уж точно. Когда на сердце хорошо, то есть когда я в добром настроении, я крою, тачаю, кую, стругаю, приколачиваю, скрепляю шпонками, а иной раз даже гвоздями сбиваю друг с другом строки, чье содержание тотчас становится понятным каждому. Если угодно, можно назвать меня мастеровым от литературы. Я пишу и вместе с тем обновляю, перелицовываю. Кое-кто из благорасположенных ко мне людей полагает, что вполне допустимо считать меня писателем, а я по мягкости и уступчивости характера не протестую. Мои прозаические произведения, думается, являют собой не что иное, как фрагменты длинной реалистической истории, без сюжета и интриги. Наброски, время от времени создаваемые мною, — как бы главы романа, то короткие, то более пространные. Этот свой роман я пишу все дальше и дальше, а он остается неизменным и мог бы по праву носить титул книги, искромсанной, распоротой книги, повествование в которой ведется от первого лица.

Пожилой, то есть уже стареющий, а может быть, и в самом деле изрядно старый, сиречь совершенно преклонного возраста человек, которому кроткий, добросердечный камердинер каждое утро щеткою или гребнем причесывал отливающие серебром волосы, полагал себя вправе думать и во всякое время без смущения утверждать, что два человека, проявившие себя в корне различными, суть его сыновья. Некто дает мне таким образом прелестный и бесспорно весьма поучительный сюжет, но распространяться об этом я до поры воздержусь. Попробуйте отгадайте, кто предоставляет мне для обработки замечательный материал!

Мне не составит труда вообразить, будто я нахожусь в старинной, однако же светлой, солнечной, веселой комнате со старомодной печью, на изразцах которой передо мной предстанет целая история в картинках, и я стану рассматривать одну картинку за другой, читая сию увлекательную повесть.

Первый сыночек хорош собою, но, к сожалению, довольно беспутен, тогда как второй отпрыск, хоть и не слишком видный обличьем, верней сказать, не очень-то привлекательный, выделяется солидностью и деловитостью. Первый скитается по белу свету, зато номер два — вот уж паинька, аккуратный да услужливый! — остается дома, где у возлюбленной первого сколько угодно поводов со страстью, то бишь с тоскою поразмышлять о скоропалительных отъездах, иными словами, о пылком идеалисте, который теперь, по всей вероятности, голодный и холодный скитается где-то на чужбине. Как зовут этих персонажей, мы умолчим.

А кладезь талантов, быть может, и правда сидит теперь в чужом краю, положа зубы на полку, иначе говоря, есть ему нечего. Платье у него тоже, поди, начинает мало-помалу

терять опрятность, а уж выберет ли он время зайти к цирюльнику, так это и ему самому, и его оставшейся дома подруге, барышне от природы деликатной, кажется весьма сомнительным. Однако ж за эту сомнительность она только крепче любит его. Старик отец — нынешний продолжатель и глава рода — подчас вовлекает, втягивает молодую девицу в беседу и, возможно, говорит ей: «Сын мой всей душою стремится домой, и это безусловно превосходнейшее свойство характера делает его до крайности впечатлительным, а между тем он странствует по некогда богатым и сильным, ныне же пришедшим в упадок городам, чей руиноподобный облик наполняет восторгом чуткие к искусству сердца; или, быть может, дорога ведет его через горы и доли, быть может, на пути своем среди сомнительного, пестрого общества он встречает людей, которых, как видно, согнула забота, и видит, как они входят в самые разные двери — кто в солидные и внушительные, кто в скромные и неприметные. Где же ты, надежда моей старости?» С этими словами старец, если, разумеется, можно счесть такое правдоподобным, принимается заламывать руки, а барышня не находит ничего лучше, как пойти в этой жалостливой сцене за его примером. Наступил вечер; второй сын позволяет себе непрошеным гостем войти в тихие, высокие, безмятежные покои. «Поди вон!» — кричат ему оба в один голос. «Но отчего?» — вопрошает он, принимая вызывающий вид, и все трое словно бы изумляются самим себе, замирают в достопримечательной неподвижности и долго не произносят ни звука; в конце концов барышня, желая даровать своей душе мир, каковой надобен ей во всех отношениях, садится за фортепьяно и начинает играть, с большим подъемом и блеском, как оно и должно быть.

Происходит все это в доме, который с незапамятных времен стоит посреди обширного, изрезанного множеством тропинок, засаженного разнообразнейшими растениями парка. На следующее утро в усадьбу является незнакомец, чье лицо из предосторожности скрыто маскою, и просит хозяина принять его. Хозяин велит узнать, что ему надобно. «Совсем немного», — передает через дворецкого пришелец и получает разрешение войти. Представ перед владельцем дома, он рассказывает, что, мол, желанного друга красавицы девицы нет более в живых. Всевозможные тяготы, именуемые жизненными неурядицами, оказались сильнее его, одержали над ним верх. Услышав сию небылицу, старик отец — надо сказать, человек, бесспорно, благороднейший — упал без чувств. Слуги, ясное дело, поспешили на помощь, подняли его, отнесли в опочивальню и до прихода лекаря заботливо уложили в постель. Барышня убежала в будуар, а весьма довольный собою второй отпрыск, этот якобы примерный сын, с недюжинной ловкостью исполнил в гостиной радостный танец.

И говорил он при этом, конечно же, «теперь я господин», иначе и быть не могло; ну, неужто здесь не проглядывает, не просвечивает питающий меня источник, тот луг, на котором я, как говорится, вволю нащипал травки?

Между тем на долю первого сына выпадает множество испытаний, и вот как-то раз погожим вечером он располагается отдохнуть на невысоком холме, который природа наделила идиллически-безмятежною красою, под сенью деревьев, что росли в беспорядке и вместе с тем создавал и в этом уютном уголке ощущение какого-то высшего порядка, и

размышляет о прелестях отроческих годов, о приятностях жизни в родительском доме, обо всем том, что мило сердцу и некогда окружало его, а в это время к нему является гость. И гость этот открывает ему, что она по-прежнему его любит. Услышав радостную весть, он вскакивает на ноги, восклицает, что сей же час отправится к ней и они наконец-то увидят друг друга. И действительно, в скором времени встреча состоялась.

Вы, наверное, уже поняли, что это Шиллеровы «Разбойники» и серьезность на меня навевали, и заставляли насмешничать, — ведь недавно я вновь, в который уж раз, от души наслаждался этим совершенным, целостным творением.

Плакаты, привлечшие вчера на вокзале мое внимание, с готовностью подсказали мне колоритный антураж.

А в иных комнатах попадаются весьма достопримечательные печи.

Кошке под хвост © Перевод Н. Федоровой

Вот пишу я здесь этот прозаический фрагмент, который будто бы так и просится из-под пера в тихий полуночный час, а ведь пишу-то кошке под хвост, сиречь на один день, не больше.

Кошка с ее хвостом — прямо как фабрика или даже целая промышленная фирма; это на нее литераторы каждый день, а быть может, и каждый час добросовестно и прилежно работают, ее снабжают. Уж лучше снабжать, чем вести вокруг снабжения бесполезные, а вокруг пользы долгие, пустые разговоры или дебаты. Временами и крупные поэты и писатели творят кошке под хвост, уверяя себя, что, мол, разумнее хоть что-нибудь делать, нежели сидеть сложа руки. Кто хоть что-нибудь бросает под хвост кошке, этому воплощению коммерциализованности, делает это ради ее загадочных глаз. Кошка — существо знакомое и вместе с тем незнакомое; она дремлет и во сне мурлычет от удовольствия; попытайся разобраться в ней — и перед тобою встанет непостижимая загадка. Хотя, по общему признанию, эта кошка как будто бы являет собой угрозу для просвещения, но без нее, видимо, не обойтись, ведь она — это само время, в которое мы живем, на которое работаем и которое обеспечивает нас работой; банки, рестораны, издательства, школы, гигантский размах торговли, необычайная широта товарного производства — все это и — вздумай я (что вполне допустимо) перечислить по порядку то, что полагаю излишним, — еще многое другое как раз и есть пресловутая кошка. С моей точки зрения она не просто способна участвовать в производстве, не просто представляет некую ценность для машины цивилизации как таковой, нет, повторяю: кошка — это само производство, и, думается, смело, во всеуслышанье заявить о своем нежелании идти кошке под хвост вправе лишь так называемые непреходящие ценности, например шедевры искусства или деяния, поднявшиеся высоко над гулом, рыком, шумом и гамом будней. Что не сметено, не уничтожено ненавистью и пристрастием, иначе говоря, не брошено под хвост кошке, созданию бесспорно весьма примечательному, то, как можно домыслить, сохранится надолго, причалит словно корабль-торговец или корабль-красавец в гавани далекого будущего. Коллега Писакли, на мой взгляд, кропает

явно кошке под хвост, хотя писания его и сочинения чрезвычайно взыскательны. А вот Строчилли — само по себе его творчество превосходно, и узами брака он связан с изумительно красивой женщиной, и кушает отменно, и каждый день совершает чудесные прогулки, и квартира у него лежит в романтическом месте, — Строчилли пребывает в вопиющем заблуждении относительно кошкохвостизма собственных творений, ибо свято верит, что кошке нет до него дела. Кошка считает его своим, он же упорно думает, что она не видит в нем проку, а это отнюдь не отвечает действительности.

Я называю кошкою современность; что же до будущего, то я не разрешаю себе выискивать фамильярные прозвища.

Зачастую кошку понимают превратно, воротят от нее нос, а если и дают ей что-нибудь, то сопровождают этот поступок отнюдь не уместными раздумьями, так как высокомерно бросают: «Ну, это кошке под хвост», будто издревле не заведено, чтобы все люди работали на кошку.

Все, что создается, сперва получает она и с удовольствием угощается, и лишь то, что вопреки кошке продолжает жить и воздействовать, бессмертно.

Ожерелье © Перевод Н. Федоровой

Некто пытался разобраться в книге, которая вышла, казалось, скорей из-под пера художника-графина, нежели писателя. Действие виделось этому читателю сплетением тончайших линий.

Один медлительный и робкий нравом господин, в самом что ни на есть стандартном, прямо-таки безликом костюме, почувствовал симпатию к женщине, которая едва ли не с детской наивностью призналась, что она — особа совершенно заурядная, жадно мечтающая обладать жемчужным ожерельем огромной ценности.

Безыскусной улыбкою она одарила невидного господина, который деликатно вложил ей в ладонь вожеленный предмет, и прошептала:

«Бывают же на свете очаровательные люди».

Сияя от удовольствия, она отправилась домой. В одну из тех трех-четырёхкомнатных квартир, с непременно зеркальным шкафом, каких в столице великое множество.

Муж изо дня в день смотрел на нее, что называется, круглыми, простодушными, пустыми глазами, даже чуточку глуповато. А ей давно приелась мужнина всегдашняя повадка, в которой было что-то деревянное, неотесанное. День за днем он на всех парусах, как лодка, или пыхтя, как паровоз, отбывал на свое поле деятельности, а когда наступал вечер, возвращался домой в твердом убеждении, что имеет полное право считать себя безукоризненным. Выглядел он до того солидно, что, едва скользнув по нему взглядом, каждый отчаянно торопился отвести глаза, чтобы не свалиться с ног от несокрушимой веры в его добродетельность. Его самоуверенные замашки повергали жену в смущение, а

поскольку это не вполне нравилось ей и изрядно докучало, она звала его Докукой и видела в нем не человека, а всего-навсего надоедлую куклу, этакий автомат, исправно выполняющий свои обязанности. Даже когда ему хотелось сказать комплимент, выходило что-то фамильярно-назойливое. Он, конечно же, всегда желал быть таким, каким бы должен, но это ему не удавалось. Его усилия быть иным, не таким, каков он есть, дали жене повод не долго думая решить, что характером он смахивает на пишмашинку: тархтит, а вот выразительности в этом тархтенье ни на грош. К примеру, она говорила ему: «Подай мне то-то и то-то». Он с готовностью подавал, но при этом бог весть в который уж раз совершал какую-нибудь неловкость, и вновь был немислимо скучен, и не понимал женской души, и вообще, нескладехе вроде него только в фарсе выступать. Он никогда не выходил из себя, держался ровно и потому казался пресным; поскольку же придраться к этой пресности было невозможно, он выглядел такой безропотной жертвой, которой никто не принимал. Он был кругом прав, а значит, ни на что не годился. Бывают — или бывали — сосис, то бишь обманутые мужья, которые приходили в бешеную ярость. Впрочем, он был не из их числа, хотя не то знал, не то догадывался о существовании сказочного богача, но эта фигура лишь забавляла его, ибо мнилась ему совершенно безобидной. Так оно и было на самом деле, ведь тот, кто дарит женщине миллион, вряд ли очень умен и взыскателен; такой человек относится к категории персонажей фантастических, которые вроде бы и не существуют по-настоящему, реальны не во всех отношениях. Наверняка это какой-нибудь слабак и мямля, думал он.

В то же самое время он заметил, что жене его не иначе как суждено умереть от этого ее трогательного приключения. Глядя, как она лежит в постели, он сравнивал ее с надломленной лилией, с разгаданной загадкой. Пока была в добром здравии, она являла собою тайну, которая теперь разъяснилась. «Люди, — сказал он себе, — рождаются и гибнут, как волны, бегущие вдаль друг за другом».

Впервые в жизни он изведаль, что есть смех. Прямо-таки упоительный хохот пронизал все его существо, однако же он заточил его в себе, не дал ему сорваться с губ, наслаждался им в тиши, точно лакомством или изысканным напитком. Он благодушно наблюдал за утасяющей женою. А она впервые в жизни не находила в его облике недостатков. «Жаль, — вздохнула она про себя, — жаль, что уже слишком поздно».

Похоронив ее, он достал из ящика ее письменного стола ожерелье и отнес его к ювелиру, а тот выложил взамен кучу ассигнаций или, может быть, выписал ему чек, который он предъявил в соответствующем месте.

Теперь он был богат!

Прощайте, каждодневные поездки в контору! Добро пожаловать, дорогостоящие сигары! Держитесь, официанты, ибо отныне он станет обедать в ресторанах!

У себя в комнате он подбросил банкноты в воздух, и они, падая, устлали весь пол.

Жизнь была блаженством!

Кто из людей разумных не желал бы пасть жертвою выгодного для себя обмана?

Примечания

1

Über Robert Walser. Fr./M., 1978, Bd. I, S. 90.

(обратно)

2

Герцен А. И. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 10. М., 1956, с. 96–97.

(обратно)

3

Über Robert Walser, Bd. I, S. 52.

(обратно)

4

Андрей Белый называл К. Моргенштерна «своим старшим братом» и «величайшим из современных поэтов», который «стоит над начатками новой культуры звездой». Белый Андрей. На перевале. Берлин — Петербург-Москва, 1923, с. 148.

(обратно)

5

Über Robert Walser, Bd. II, S. 257.

(обратно)

6

Ремизов А. М. Избранное. М., Художественная литература, 1978, с. 19.

(обратно)

7

Hamann R., Hermand J. Impressionismus. Berlin, 1960, S. 124.

(обратно)

8

Прелестная малютка-французена (фр.).

(обратно)

9

1 августа 1291 г. — официальная дата образования Швейцарии; в этот день три лесных кантона объединились в конфедерацию.

(обратно)

10

Равахоль — французский анархист; в 1892 году совершил два покушения на парижских судебных исполнителей, приговоривших рабочих-анархистов за стычку с полицией к принудительным работам. В том же году Равахоль был казнен.

(обратно)

11

Робер Гискар (1015–1085) — граф, один из нормандских авантюристов, основавший Неаполитанское королевство.

(обратно)

12

Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770) — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы.

(обратно)

13

Владельца салона мод (фр.).

(обратно)

14

Литератор (фр.).

(обратно)

15

Имеется в виду немецкий писатель Якоб-Михаэль Ленц (1751–1792).

(обратно)

16

Штауфер-Берн Карл (1857–1891) — швейцарский живописец, гравёр и скульптор.

(обратно)

Клеменс Брентано (1778–1842) — немецкий поэт и писатель-романтик. Писал лирические стихи, рассказы и сказки в народном Духе.